

### МОЛОДЕЖНО-ПРЕМИАЛЬНЫЕ ВКЛАДЫ

● Такие вклады принимаются от граждан в возрасте от 18 до 30 лет включительно.

● При открытии счета вкладчик молодежно-премиального вклада определяет размер ежемесячного взноса — 10, 20, 30, 40 или 50 рублей. Первоначальный взнос на одну из указанных сумм принимается наличными деньгами только от самого вкладчика по предъявлении им паспорта.

● Накопление вклада производится в течение трех лет путем регулярных ежемесячных взносов. Такие взносы могут перечисляться по заявлению вкладчика бухгалтерией по месту его работы или учебы. Дополнительные взносы по вкладу принимаются сберегательной кассой и наличными деньгами.

● По молодежно-премиальным вкладам вкладчики получают доход из расчета 3,5% годовых, из которых 2% ежегодно присоединяются к остатку вклада, а 1,5% — выплачиваются в виде премии по истечении срока накопления сбережений.

Юноши и девушки, пользуйтесь услугами сберегательных касс!

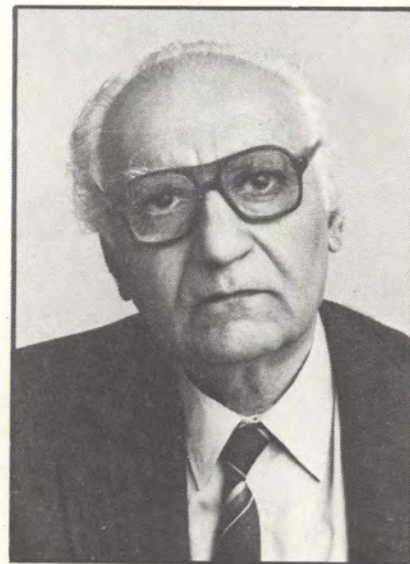
ПРАВЛЕНИЕ ГОСТРУДСБЕРКАСС СССР



ОГОНЁК

№ 30

1988



Николай ШАХБАЗОВ

МОСКВА  
ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ПРАВДА»

СЛУЧАЙ С ДЮБУА

Николай ШАХБАЗОВ

# СЛУЧАЙ С ДЮБУА

РАССКАЗЫ

Москва. Издательство «ПРАВДА».  
1988

## Николай ШАХБАЗОВ

*Николай Григорьевич Шахбазов родился 9 февраля 1919 года в Тбилиси. В 1938 году, переехав в Москву, поступил в Литературный институт имени А. М. Горького, который окончил в 1947 году, после демобилизации из Советской Армии. Работал литсотрудником в редакциях многих газет, был редактором Главреперткома, заведовал литературной частью в театрах, занимался переводами.*

*В 1965 году в издательстве «Советская Россия» вышел первый сборник рассказов «Лето прошлого года», в 1971 году в том же издательстве — «Синие горы». Печатался в периодических изданиях. Рассказ «Случай с Дюбуа» отмечен премией «Огонька» за 1987 год.*

## СЛУЧАЙ С ДЮБУА

### I

Бородаева звали так же, как и Барклая де Толли: Михаил Богданович. Был он директором театра. За глаза его все именовали Бульбой. О нем говорили: «У Бульбы нюх». Говорили: «Что касается нюха, то Бульба». И на самом деле был у Бульбы нюх — поразительный. Однажды он пришел в театр и, проходя в кабинет, сказал Варваре Петровне: — Черная кошка перебежала дорогу. Если будут звонить из Управления, меня нет.

Звонили из разных мест, а потом и из Управления. Спрашивали: где Бородаев? А почему спрашивали — неизвестно.

### 2

День двадцать третьего апреля, когда дорогу Бульбе перебежала кошка, ничем примечателен не был. Шла обычная театральная жизнь. В фойе помреж вводил в эпизод нового исполнителя, на сцене репетировал главный. Вернулся из отпуска Ларчиков, работник пожарно-сторожевой охраны. Обсуждали макет, представленный художником.

Вечером играли «Гаити». Бульба покинул театр после второго антракта, вслед за ним уехал и его заместитель. Ведущий довел спектакль до конца и ушел последним.

А между тем двадцать третьего апреля исполнилось три месяца со дня премьеры «Гаити». Но событие это осталось незамеченным, на него никто не обратил внимания — ни ведущий, ни завтруппой, ни Бульба.

На следующий день приказом Управления по делам искусств «Гаити» неожиданно был снят с репертуара.

### 3

Если бы Бульба в свое время не дал согласия на постановку «Гаити», то всех последующих событий, которые так потрясли театральный организм и чуть было не лишили Бульбу директорского кресла, не было бы.

Позднейшие историки театра не могли сколь-нибудь убедительно объяснить причину запрета спектакля. Большинство их придавало упоминаемой в записях секретаря директора черной кошке большее значение, чем она заслуживала. Все они — как только дело доходило до приказа Управления — вытаскивали на свет черную кошку, и с этого момента исследование шло по ложному пути и было обречено. И в то же время, как это ни странно, ни один из них не уделил должного внимания тому факту, что ровно через две недели «Гаити» вновь появился на сцене и держался в репертуаре до конца сезона. Проф. Ю. Зубцов был склонен рассматривать это как элементарное нарушение приказа. Предположение его выглядит по меньшей мере легкомысленным и аттестует Ю. Зубцова как человека, не понимающего своеобразие эпохи, в которой происходили события, и игнорирующего главную черту характера Бульбы — осторожность. Если бы историки театра попытались найти подлинные мотивы возобновления «Гаити», они, по всей вероятности, сумели бы ответить и на вопрос: почему он был снят? И тем не менее восстановить эту историю, именуемую нами условно «Случай с Дюбуа», во всех подробностях и вынести окончательное суждение стало возможным лишь в наше время, когда открыт доступ к архивным материалам Управления по делам искусств. Однако прежде, чем говорить о событиях за период с 24 апреля по 7 мая, необходимо обратиться к более ранним дням. И тут следует назвать имя Феофана Курочкина.

4

Чем бессмысленнее становилась роль завлита в жизни театра, тем вычурнее он именовался. В пятидесятых годах завлита стали именовать помощником главного режиссера. Должность эта всегда была неопределенной, а к моменту происходящих событий представляла совершенный курьез.

Завлиту предъявлялись два требования: первое — вести протоколы Художественного совета, второе — повышать уровень современной драматургии. Но поскольку уровень из года в год оставался одним и тем же, а Художественный совет был органом мифическим, то завлит в глазах руководства слыл человеком, ни за что получающим зарплату. Предполагалось, что где-то существует пьеса, которую театр ждет годами и которую можно было бы раздобыть за полчаса, прояви завлит расторопность. Положение завлита осложнялось еще и тем, что он никогда не знал, в чем ведении находится — директора или главрежа. Как правило, директор и главреж высказывали мысли взаимоисключающие, и завлит, таким образом, постоянно пребывал в состоянии гимнаста, работающего под куполом без страховки. В конечном счете его ожидала судьба смертника. Поэтому завлиты обычно комплектовались из людей, проштрафившихся на руководящей работе. Если же находился человек,

добровольно предлагающий свои услуги, то можно было заранее сказать, что он более ни для чего другого пригоден не был. Одним из таких людей, а именно: не пригодным ни для чего другого, и был Феофан Курочкин.

— Вот, — сказал Курочкин и положил Бульбе на стол объемистую папку.

— Что это? — спросил Бульба.

Бульба знал, что это пьеса и ничем, кроме пьесы, быть не может. И то, что Курочкин именно сегодня притащит пьесу, он тоже знал. Накануне был разговор.

Главный уже с полгода слонялся по театру, ничего не делая. В других театрах главные ничего не делали годами, и это как-то сходило с рук; но Бульбе каждый раз, когда он бывал в управлении, ставили в упрек, что главный у него на простое. Разъяренный Бульба возвращался в театр, вызывал Курочкина и стучал кулаком. Курочкин бросался, как к спасательному кругу, к стопке самотечных рукописей, хватал первую попавшуюся из них и на следующий день тащил Бульбе. Он входил в директорский кабинет с видом заговорщика. Озираясь по сторонам, он плотно прикрывал за собой дверь, извлекал из-под полы рукопись и говорил шепотом: «Вот, нашел». И на этот раз после вчерашнего разговора Бульба знал, что Курочкин притащит пьесу. Вопрос его: «Что это?» — означал: как называется? кто автор?

— Уильям Дюбуа, — ответил Курочкин. — «Гаити».

Бульба задумался.

Бульба требовал от Курочкина то, что Управление требовало от Бульбы: хорошей советской пьесы. Но что такое хорошая советская пьеса, не знали ни Курочкин, ни Бульба. Кажется, этого не знали и в Управлении. Время было смутное, чреватое неожиданностями.

Ясно было одно: театр должен отражать жизнь. В этом Бульба ни минуты не сомневался. На совещаниях, когда ему не о чем было говорить, он всегда говорил об этом. Второе, в чем Бульба не сомневался, это в том, что жизнь прекрасна. Но тут встречали драматурги и сбивали Бульбу с толку. Соглашаясь, что жизнь прекрасна, они говорили, что если нет конфликта, то нет и пьесы. Получался какой-то заколдованный круг. Чтобы написать пьесу, нужен был конфликт, а если был конфликт, то жизнь уже не была прекрасной. Бульба, будучи более практиком, чем теоретиком, не любил эти вопросы и в то же время понимал, что директор не может в них не разбираться.

Курочкин догадался, о чем Бульба думает, и сказал:

— С советской пьесой сложно. Лучше переждать.

— А за иностранщину, думаешь, по головке погладят? — спросил Бульба.

Но Курочкин был готов к этому вопросу.

— Михаил Богданович, — сказал он. — Случай особый. Уильям Дюбуа — видный общественный деятель, к тому же негр. Большая Советская Энциклопедия...

— Ладно, — перебил его Бульба. — Расскажи вкратце, о чем речь?

— Действие происходит на острове Гаити, который французы называют Сан-Доминго, — начал Курочкин. — Наполеон сперва даровал этому острову свободу, а потом ее отнял. Тогда генерал Лувертюр поднял восстание. Французы, как ни бились, ничего сделать не могли. Думали-думали и решили заманить этого негра в ловушку. И вот во время переговоров...

— Постой, — перебил Бульба Курочкина. — Ты меня не путай. Кто негр — автор или генерал?

— Оба негры, — ответил Курочкин.

— Ну, ладно. Продолжай, — сказал Бульба.

— Словом, его заковывают в кандалы и отправляют во Францию.

Но дело не в этом. Там есть еще такой генерал Кристоф, который влюблен в жену полковника Буше. Зовут ее Одетта. А в мамашу Одетты когда-то был влюблен полковник Жак. Этот Жак переодевается дворцом, чтобы увидеть Одетту и одновременно шпионить за французами.

— Он тоже негр? — спросил Бульба.

— Да, — ответил Курочкин. — И он, и Кристоф.

— Ох, Курочкин, — сказал Бульба. — С такой пьесой хлопот не оберешься.

И Бульба снова задумался.

С неграми у Бульбы были связаны два воспоминания. Первое относилось к давним временам, когда он только начинал свою театральную деятельность. Надо сказать, что прежде, чем стать директором, Бульба был актером. И вот однажды он был занят в массовке в спектакле «Хижина дяди Тома». Спектакль имел успех, его играли на всех утренниках, а в школьные каникулы по два раза в день. Бульба ходил по сцене весь измазанный морилкой, которую завхоз где-то достал по дешевке. Она была изготовлена на каких-то зловонных маслах, но главное — требовались невероятные усилия, чтобы ее смыть. С тех пор Бульба питал чувство неприязни к любой пьесе, в которой фигурировал хотя бы один негр.

Второе воспоминание было связано непосредственно с директорской деятельностью Бульбы. Жил в Москве негр по имени Роберт Тодд. Толком его никто не знал, но, поскольку он был негром, с ним приходилось считаться. Этот Роберт Тодд мнил себя актером и во что бы то ни стало хотел играть Отелло. Как на грех, для своих экспериментов он наметил театр, которым руководил Бульба. Раз в два года приступали к постановке «Отелло». Распределялись роли, начинались репетиции. Но

вскоре становилось ясно, что из этой затеи ничего не получится. Роберт Тодд сокрушенно вздыхал и на некоторое время исчезал с горизонта. Но года через два все начиналось сначала. Неизвестно, сколько бы это продолжалось, если бы кто-то (кажется, Аникст, консультирующий московские театры по вопросам английской драматургии) не подсказал Бульбе, что Отелло, собственно говоря, не негр, а мавр. И когда Роберт Тодд в очередной раз появился в кабинете Бульбы, Бульба уже был спокоен.

Курочкин вновь догадался, о чем Бульба думает, и сказал:

— А Поль Робсон?

— Что — Поль Робсон? — не понял Бульба.

— Поль Робсон, — повторил Курочкин. — Великий негритянский певец и борец за мир. Забыли? Поет «Широка страна моя родная».

И Курочкин пошел в наступление. Опираясь на неопровержимые факты и неожиданными параллелями, он легко доказал, что творчество художника, игнорирующего негритянскую тему, лишено высоких идеалов гуманизма и справедливости. Негритянская тема облагораживает художника, сказал он, и не преминул упомянуть Гогена, перепутав Гаити с Таити. Голос его постепенно обретал металлическую звонкость, сидя в кресле, Курочкин вытягивался, становился выше ростом. Если бы не существовало негров, продолжал он, мы не только не имели бы бессмертное произведение Пушкина «Арап Петра Великого», но и неизвестно, имели ли бы самого Пушкина. Он говорил страстно и убежденно, не давал Бульбе опомниться. Обратясь к современности, он кратко сообщил о распределении сил на мировой карте, остановился на борьбе народов стран Азии и Африки за свою независимость и эффектно закончил словами...

И Бульба дрогнул. Разумеется, не исторические экскурсы Курочкина оказали влияние на Бульбу и даже не цитаты из авторитетных источников. Неизгладимое впечатление на него произвели слова Курочкина о борьбе народов стран Азии и Африки. Именно эти слова явились решающими в судьбе пьесы, хотя Гаити, находясь у берегов Америки, не имел отношения ни к Азии, ни к Африке.

— Оставь, — сказал Бульба. — Я переговорю с главным.

Так был заложен первый камень в фундамент будущего спектакля.

## 5

Главный, с точки зрения Бульбы, был человеком никчемным. Достаточно сказать, что у него не было нюха. Таких людей Бульба не уважал. К тому же главный любил произносить фразы, которые Бульба в глубине души считал сущим вздором. Например: «Театр — это буйство красок». Или: «Искусство должно быть масштабное». Больше всего главный любил спорить. Спорил он со всеми — с авторами, художниками,



с Бульбой. С актерами он не спорил, он на них кричал. Когда в Управлении говорили, что на главного опять поступили жалобы, Бульба разводил руками. «Талант», — отвечал он.

На этот раз главный оказался покладист. Его прельщала экзотичность материала.

— Лианы и бананы, — сказал он. — Действие происходит на фоне тропического леса.

На всякий случай спросил:

— А что скажут там?

— Там? — переспросил Бульба.

— Там, — повторил главный, ткнув указательным пальцем в потолок.

Бульба вдруг просиял.

— Там — одобрят, — сказал он.

Наступила пауза. Главный взял чистый лист бумаги и сделал из него кораблик, Бульба понял, что рискует упустить время.

— Слышал, пьесой интересуется Охлопков, — сказал он.

Рядом с корабликом появилось какое-то существо — не то жираф, не то кенгуру.

— И вахтанговцы, — добавил Бульба.

— Приступим к распределению ролей, — сказал главный и смел в корзину кораблик, а заодно и существо, которое должно было изображать жирафа или кенгуру.

— Нюх, — сказал Бульба Курочкину, встретив его в коридоре. — Без нюха — нельзя.

Когда Бульба хотел кого-либо похвалить, он говорил: «У него — нюх». Про себя он говорил: «У меня — большой нюх». Людей с большим нюхом было не так уж много. Кроме Бульбы, большой нюх был еще у Шаха. «Вот он выдвигает этого... как его? Розова», — говорил Бульба.

Самый же большой нюх, по мнению Бульбы, был у Мэтра. Но тот жил в Ленинграде.

## 6

Премьера «Гаити» состоялась после зимних каникул, 23 января, и прошла с успехом. В первом акте публика была немного смущена обилием экзотики, затем привыкла к ней и следила уже за любовными перипетиями. Когда в третьем акте Жак сообщил о своем решении покончить с жизнью, выпил какое-то зелье и нетвердым шагом ушел за кулисы, в зале раздались всхлипы. Занавес опустился под дружные аплодисменты зрителей.

Через несколько дней газета «Культура и искусство» писала: «Инициатива театра, первым поставившего «Гаити» на советской сцене, заслу-

живает всяческого одобрения». Далее следовали комплименты в адрес режиссера и актеров, особо был выделен исполнитель роли Лувертюра. Рецензент подчеркивал значение музыки в общем воздействии спектакля. О музыке было сказано так: она выразительна и эмоциональна.

Оценку «Культуры и искусства» разделили и другие газеты.

На совещании в Управлении спектакль был признан событийным.

В театре все поздравляли друг друга, обменивались сувенирами.

Единственный человек, имя которого не упоминалось ни в рецензиях, ни в выступлениях на совещании, ни даже в актерских разговорах, был Курочкин. Однако так уж повелось испокон веков: если спектакль имел успех, хвалили всех, кроме завлита, если же успеха не было, завлита ругали за неудачный выбор пьесы.

7

Перед весенней сессией ООН в Нью-Йорке состоялось совещание, в котором приняли участие авторитетнейшие делегации великих держав. После окончания совещания глава каждой делегации дал официальный прием в честь своих иностранных коллег. Дж. Ф. Даллес как гражданин страны, на территории которой проходило совещание, дал прием первым. Вслед за ним прием дал глава советской делегации — через день.

За несколько часов до приема референт информировал главу делегации, которого в дальнейшем будем именовать Высоким лицом, о составе гостей. Кроме официальных лиц, были приглашены деятели науки, деятели литературы и искусства и общественные деятели. Если Высокому лицу имя того или иного гостя было незнакомо, референт сообщал о нем краткие сведения. В числе гостей значился и Уильям Дюбуа. Назвав его, референт сказал:

— Историк и этнограф. Литератор.

— Если не ошибаюсь, — сказал Высокое лицо, — в сорок пятом году он был советником американской делегации на конференции в Сан-Франциско.

— Совершенно верно, — подтвердил референт. — До этого возглавлял кафедру социологии в университете Атланты. Сейчас ему восемьдесят четыре года, и он бодр. Кстати, его пьеса «Гаити» идет с успехом в Московском театре драмы и комедии.

Перешли к другим гостям и о Дюбуа более не вспоминали.

Высокие лица — если они не путешествуют инкогнито — лишены возможности посещать частных лиц и общественные места, оставаясь незамеченными. В любом, подчас самом ординарном их поступке стараются найти второй и даже третий смысл. Не совсем точно выраженная

мысль получает множество толкований, иногда самых разноречивых. Официальное положение, которое занимают Высокие лица, диктует им свои условия, и они находятся в плену этих условий, по крайней мере до тех пор, пока являются Высокими лицами. Лишь дипломатические приемы дают им возможность — и то весьма относительную — непосредственного общения с избранными представителями общества.

...Главы делегаций обменялись приветствиями, и напряжение несколько спало; гости, разбившись на группы, оживленно беседовали. Удивлялись рано наступившей в нынешнем году весне и восхищались последним концертом Тосканини. Обсуждали события в Тунисе, правительственный кризис во Франции.

— Президент поручил образование нового кабинета Полю Рейно.

Кто-то упомянул Грубера. Это было не совсем тактично по отношению к американским должностным лицам, но все заулыбались: Грубер ходил в героях дня. Впрочем, дело было не столько в Грубере, сколько в «Нью-Йорк таймс».

«Нью-Йорк таймс» умудрилась опубликовать речь Грубера — западноевропейского министра иностранных дел — за несколько часов до того, как состоялось его выступление. Произошло это потому, что выступление министра по национальному радио было почему-то перенесено с десяти часов утра на шесть вечера. Положение можно было исправить, обвинив «Нью-Йорк таймс» в дезинформации, однако ничего не подозревавший министр выступил в шесть часов и слово в слово повторил то, что уже было не только опубликовано, но и прокомментировано международными обозревателями. Всем стало ясно, что свою речь министр предварительно представил в Вашингтон на рассмотрение, а быть может, и получил ее из Вашингтона в готовом виде. Представитель Белого дома отказался дать какие-либо разъяснения по этому вопросу.

Высокое лицо с фужером в руке стоял в углу зала и беседовал через переводчика с двумя физиками, один из которых был лауреатом Нобелевской премии. Постоянный представитель Пакистана в ООН Мирза Джафари вертелся вокруг да около, то ли не решаясь вступить в беседу, то ли ожидая, когда Высокое лицо кончит говорить с физиками. Мирза Джафари был человеком, лишенным чувства меры, и уже дважды, на других приемах, донимал Высокое лицо рассказами об обычаях своей страны. Отвечая на вопросы физиков и думая о том, как избежать беседы с этим словоохотливым сыном Востока, Высокое лицо увидел Дюбуа. Тот стоял в противоположном, по диагонали, углу и рассказывал окружающим его людям, видимо, что-то забавное, потому что они то и дело смеялись. Высокое лицо подумал, что следовало бы подойти к Дюбуа, сказать ему любезность, подчеркнув тем самым еще раз отношение Советского правительства к недавнему инциденту: не более года назад Дюбуа был привлечен к суду за свою деятельность в за-

щиту мира. Извинившись перед физиками, Высокое лицо поспешно, — чтобы Мирза Джафари не успел его перехватить, — направился в другой конец зала. Перед ним расступились.

— Я рад сообщить, — сказал Высокое лицо, обращаясь к Дюбуа, — что пьеса ваша с успехом идет в Москве. В театре...

Тут Высокое лицо запямятовал, и фраза повисла в воздухе. Он пожевал губами, стараясь выиграть время. Существовал Московский театр драмы и Московский театр драмы и комедии, а, кроме них, еще и Московский Драматический театр, и еще Театр комедии, но тот, кажется, в Ленинграде. Все эти театры в голове Высокого лица перепутались, и он продолжал жевать губами и никак не мог вспомнить, в каком же из театров идет пьеса Дюбуа. Наконец он улыбнулся и закончил:

— В театре.

И все тоже улыбнулись.

— Какую пьесу имеет в виду его превосходительство? — спросил Дюбуа.

— «Гаити», — искупая паузу, быстро ответил Высокое лицо.

Мгновенное удивление, выразившееся на лице Дюбуа, сменилось грустью. Глаза его вдруг погасли, он улыбнулся беспомощно и виновато, как человек, застигнутый врасплох. Потом развел руками и сказал, вздохнув:

— Эту пьесу писал другой Дюбуа.

Высокое лицо подумал, что ослышался и хотел было переспросить, но вдруг почувствовал легкую дрожь в нижней челюсти. Эта проклятая дрожь была ему знакома издавна, стоило ей появиться, как он начинал заикаться. Сейчас, быть может, он и совладал бы с нею, если бы не случившийся тут же Мирза Джафари. Он хихикнул, и хихикнул как-то зло и оскорбительно. Левая щека Высокого лица дрогнула, уши начали краснеть. Выручил Нозл Джонсон, пресс-атташе английского посольства.

— Тосканини, — сказал он. — Тосканини — это гений.

## 8

Если бы Высокое лицо ту фразу, которую он мысленно произнес в адрес референта, сказал вслух, то все присутствующие поняли бы ее значение без перевода. Собственно говоря, этой фразой он мог и ограничиться, будь простым смертным. Однако привыкший за многие годы к тому, что один его взгляд повергает собеседника в трепет, он пришел в негодование. Гнев его искал выхода, требовал реализации. Но, кроме референта, других виновных Высокое лицо не видел, а референт сам по себе был величиной слишком малой для столь великого гнева. Поэтому, когда референт притащил из пресс-бюро подшивку «Правды» и, показав, указал на рецензию, в которой черным по белому было написано, что автором «Гаити» является Уильям Дюбуа, Высокое лицо даже облег-

ченно вздохнул: дело приобретало значительность, выходило за рамки простой оговорки референта.

Высокое лицо оставил референта в покое и вызвал своего помощника.

— Запросите Комитет по делам искусств: кто такой Дюбуа? — сказал он. — Не Уильям Дюбуа, которому «Правда» приписывает авторство «Гаити», а его однофамилец, который является подлинным автором этой пьесы.

Однофамилец Уильяма Дюбуа мог оказаться сюрреалистом, экспрессионистом, трансценденталистом, экзистенциалистом. Похоже было, что московские театры не знают даже, чьи пьесы они ставят. Высокое же лицо был не только Высоким лицом, но и очень Высоким.

9

Телеграмма, полученная через Министерство иностранных дел, весьма озадачила Председателя Комитета по делам искусств. Речь в ней шла о каком-то втором Дюбуа. Он трижды перечитал телеграмму, пытаясь понять, что от него требуют, но так и не понял, потому что он не только ничего не слышал о втором Дюбуа, но и не знал о существовании первого. Он велел немедленно вызвать начальника Главреперткома и начальника Главного управления драматических театров.

Начальник Главреперткома и начальник Главного управления драматических театров, узнав, что их вызывает Председатель, встревожились не на шутку. Каждый из них имел на то свои основания.

В Замоскворечье, в подвальном помещении бывшего купеческого особняка, ютилась артель инвалидов Отечественной войны. Состояла она из одних дельцов, к инвалидам войны отношения не имеющих, и занималась тем, что изготовляла торшеры. В первые годы своей деятельности артель процветала, но времена процветания вскоре прошли, а в сорок восьмом году, когда торшеры из ГДР и Чехословакии заволокли рынок, она и вовсе захирела. Поразымлив, инвалиды-дельцы бросили торшеры и перекинулись на эстампы.

По существующему положению, ни одна организация не была вправе приобрести эстампы, если они предварительно не были утверждены Главреперткомом. И вот в один прекрасный день в кабинете начальника Главреперткома появилась делегация инвалидов-дельцов. Глава делегации долго говорил о высокой миссии артели, которая, по его словам, призвана украсить быт советского человека, борющегося против угрозы атомной войны, и в конце концов предложил начальнику Главреперткома стать — за соответствующее вознаграждение — художественным консультантом артели.

В обязанность художественного консультанта входило раз в месяц

забегать в артель на полчаса и просматривать готовую продукцию. Начальник Главреперткома в глубине души решил, что будет судить работу артели как можно придирчивее, и дал согласие. Однако на свою беду он обладал из рук вон плохим вкусом. Ему на самом деле нравились соловьи и розы, изображенные на эстампах. Когда же он видел на них фабричные трубы, из которых густо валил дым, то приходил в неописуемый восторг от связи искусства с современностью. Создалась своеобразная ситуация, при которой он как консультант продукцию артели одобрял, а как начальник Главреперткома эту же продукцию утверждал. Содружество Главреперткома и инвалидов-дельцов продолжалось до тех пор, пока об этом каким-то образом не стало известно заместителю Председателя Комитета по кадрам. Тучи над головой начальника Главреперткома сгущались, гроза могла разразиться в любую минуту.

Тучи сгущались и над головой начальника Главного управления драматических театров.

Начальник Главного управления драматических театров Семенов-первый, потому-то и именовался первым, что существовал еще Семенов-второй, его брат. Отец их, умерший в начале нэпа, в незапамятные времена служил дьячком на Смоленщине. Дьячок не архимандрит, однако революция их уравнила, назвав и того, и другого служителями культа. Сын служителя культа мог быть запросто предан анафеме, и поэтому Семенов-первый, когда подросток, решил перебраться в город, подальше от родных мест. К этому времени он уже не сомневался, что легче заниматься трудом умственным, чем физическим, и что лучше быть начальником, чем подчиненным. Оформляясь на должность заведующего клубом, Семенов-первый указал в анкете, что по происхождению он из мещан.

Семенов-второй в отличие от своего брата во всех анкетах указывал, что является сыном служителя культа. В сорок девятом году, когда Семенов-первый находился в зените своей славы, Семенову-второму удалось переехать в Москву и устроиться на работу в отдел охраны памятников и музеев. Этот отдел на беду Семенова-первого входил в систему Комитета по делам искусств. Таким образом личное дело Семенова-первого и личное дело Семенова-второго вдруг оказались не только в одном отделе кадров, но и рядом на одной полке. Стоило заместителю Председателя Комитета по кадрам сравнить анкеты братьев, как над головой Семенова-первого разразилась бы гроза.

В силу этих обстоятельств начальник Главреперткома и Семенов-первый не на шутку встревожились, узнав, что их вызывает Председатель.

— Садитесь,— сказал Председатель тоном, не предвещающим ничего хорошего.

К письменному столу Председателя, образуя букву «Т», был приста-

весь длинный стол, покрытый красным сукном. Когда начальник Главреперткома и Семенов-первый, отодвинув стулья, уселись в подмышках буквы «Т», Председатель задал вопрос, достойный любителя кроссвордов:

— Кто автор «Гаити»?

Начальники главков переглянулись и ответили хором:

— Уильям Дюбуа.

— Вы в этом уверены? — спросил Председатель. (Дождаясь начальников главков, он кое-как разобрался в телеграмме.) — Читайте! — крикнул он, побагровев.

Телеграмма вырвалась из его рук и, сделав вираж, спланировала на колени начальника Главреперткома. Семенов-первый, вскочив, побежал вокруг стола.

— Позор, — сказал Председатель. — Так кто же автор «Гаити»?

Начальники главков молчали.

— Может быть, «Анну Каренину» написал Алексей Толстой? — съязвил он.

Начальники главков молчали.

— Если такое возможно в Москве, что же делается на местах? — спросил Председатель.

Начальники главков молчали.

— Немедленно выясните, кто такой Дюбуа, — сказал он. — Высокое лицо ждет.

## 10

Начальники главков молчали потому, что чувства, испытываемые ими, были противоречивы. Они сознавали, что допустили ошибку, но в то же время не считали себя полностью ответственными за случившееся. Театр драмы и комедии не был театром союзного значения и подчинялся непосредственно городскому Управлению по делам искусств. Именно на городское Управление и ложилась основная тяжесть вины. Начальник Главреперткома и Семенов-первый полагали, что дело о Дюбуа следовало бы передать в республиканский Комитет по делам искусств, в ведении которого находилось городское Управление по делам искусств, и во всех других случаях Председатель, вероятно, так бы и поступил; но поскольку телеграмма исходила от Высокого лица и необходимо было действовать быстро и решительно, то Председатель не считал возможным упускать расследование из поля своего зрения и поручил его начальникам главков. Поэтому в истории с Дюбуа республиканский Комитет оставался в стороне.

Начальники главков попросили Начальника городского Управления зайти в Комитет и ошарашили его сообщением, что Уильям Дюбуа не является автором «Гаити».

— Автором «Гаити» является Дюбуа, но не Уильям,— сказали они.  
— Кроме Уильяма, другого Дюбуа нет,— сказал Начальник городского Управления.

Это безапелляционное заявление так возмутило начальников главков, что они даже не ответили на него и молча положили перед Начальником городского Управления копию телеграммы Высокого лица. Выражение их лиц означало: другого Дюбуа не может не быть, если Высокое лицо говорит, что он есть. Это во-первых. Во-вторых, мы являемся звеном промежуточным, и нас не очень интересует, есть другой Дюбуа или нет его. Наконец, в-третьих, если вы уверены, что другого Дюбуа нет, то пойдите и заявите об этом Председателю, но мы предупреждаем, что ничего хорошего из этого не получится.

Начальник городского Управления понял, что попал впросак и задумался.

Городское Управление по делам искусств являлось органом двойного подчинения. С одной стороны им руководил Моссовет, с другой — республиканский Комитет по делам искусств. Но поскольку городское Управление находилось, естественно, в Москве, то и союзный Комитет по делам искусств считал своим долгом руководить им. Это положение весьма осложняло работу городского Управления, но в то же время давало и некоторые преимущества.

Одно из преимуществ заключалось в том, что, если какое-либо распоряжение республиканского Комитета не устраивало Начальника городского Управления, он заявлял, что это распоряжение не совпадает с распоряжением союзного Комитета или Моссовета. Если же его не устраивало распоряжение Моссовета, он говорил, что оно противоречит распоряжениям и республиканского, и союзного комитетов. Тогда начиналась переписка между республиканским Комитетом, союзным Комитетом и Моссоветом, и, пока выясняли, что к чему, распоряжение теряло смысл и все утрясалось само собой.

Сейчас Начальник городского Управления сидел и думал, нельзя ли как-нибудь и в данном случае использовать это преимущество, но ничего придумать не мог. Он махнул рукой, сдался.

В конце концов, рассуждал он, чем я — не промежуточное звено? Я, конечно, виновен, но меня подвели подчиненные — в первую очередь начальник театрального отдела и начальник Мосреперткома. Однако мысль эту вслух он не высказал, потому что и начальник театрального отдела, и начальник Мосреперткома, являясь его ближайшими помощниками, недостаточно смягчали силу удара. Поэтому он сказал начальникам главков, что основная тяжесть вины, по его мнению, ложится на директора театра.

В этот день дорогу Бульбе перебежала черная кошка.



На следующее утро, едва Варвара Петровна пришла в театр, как раздался телефонный звонок. Она узнала голос начальника театрального отдела и ответила, что Бородаев еще не появлялся.

— Разыщите, — сказал начальник театрального отдела, — пусть не медленно явится в Управление.

Только она опустила трубку, как телефон зазвонил вновь. На этот раз говорил начальник Мосреперткома.

— Разыщите, — сказал он.

Варвара Петровна позвонила Бульбе на квартиру, но трубку там никто не поднял. Прошел час, потом другой. Бульба уже давно должен был быть в театре, и по тому, что звонки прекратились, а Бульбы все еще не было, Варвара Петровна догадалась, что его разыскивали без ее помощи.

Наконец в час дня Бульба появился. Он был грозен, как Петр Первый перед Полтавой, и мрачен, как Наполеон после Ватерлоо.

— Разыщите Курочкина, — медленно, как-то нараспев произнес он.

Курочкин в это время в служебном буфете допивал бутылку кефира. Когда Варвара Петровна сказала, что его вызывает директор, он очень огорчился. Во-первых, он намеревался после завтрака прогуляться по Таганке, а во-вторых, знал по опыту, что неожиданные вызовы ничего хорошего не сулят. Разумеется, он даже не мог представить себе масштабы катастрофы.

— Вот что, Курочкин, — сказал Бульба, барабанив пальцами по настольному стеклу, — спорить мне с тобой некогда. К вечеру — кровь из носу — чтоб второй Дюбуа был найден. В Управлении ждут.

— Какой второй Дюбуа? — удивился Курочкин.

— Послал мне бог заплата! — воскликнул Бульба и объяснил Курочкину, о каком Дюбуа идет речь.

Курочкин побледнел.

— А как же Большая Советская Энциклопедия?.. — пробормотал он.

— Кому мне прикажешь верить — Энциклопедии или Председателю Комитета?! — заорал Бульба. — Энциклопедия завтра напишет: на странице такой-то вместо «Эжен Сю» следует читать «Исидор Шток», а отвечать-то нам? Предупреждал я тебя, Курочкин. Теперь делай, что хочешь, найди второго Дюбуа.

Курочкину часто снились кошмары, и сейчас ему казалось, что он спит. Стены вдруг исчезли, он увидел себя со стороны — на краю пропасти. С этого момента окружающие предметы отодвинулись куда-то далеко, будто Курочкин смотрел на них в перевернутый бинокль, и слова утратили смысл, — он слышал их, но не понимал. Это состояние продолжалось и после того, как Курочкин от Бульбы ушел. Но вдруг так же,

как во сне невеста откуда приходит спасение, неожиданная мысль пронзила Курочкина. Она была настолько проста и естественна, что он даже удивился, почему она не пришла ему в голову сразу, еще в кабинете Бульбы. Он выбежал из театра и стремглав помчался в районную библиотеку.

В пятнадцатом томе Большой Советской Энциклопедии, кроме Уильяма Дюбуа, значились еще четыре Дюбуа: Фредерик Дюбуа, Эдмон Дюбуа, Эжен Дюбуа и Эмиль Дюбуа. Мысль Курочкина заключалась в следующем: если Энциклопедия могла приписать Уильяму Дюбуа то, чего он не писал, то с таким же успехом она могла и не указать в статьях о других Дюбуа то, что писали они. Следовательно, вполне возможно, что один из четырех Дюбуа и является автором «Гаити».

Двух из них Курочкин отвел сразу: один был реакционным политическим деятелем, другой неправильно решал вопрос о познаваемости закономерностей природы. Про третьего Дюбуа было сказано, что он сторонник норманистской теории. Курочкин не знал, хорошо это или плохо, поэтому на всякий случай отвел и его. Оставался Эжен Дюбуа.

Про Эжена Дюбуа было написано: голландский ученый, обнаруживший остатки ископаемого существа — питекантропа. В течение многих лет защищал дарвинизм, доказывая, что питекантроп представляет собой промежуточное звено между человеком и обезьяной.

Курочкин даже подпрыгнул от радости: человек, обнаруживший остатки питекантропа, да еще доказывающий, что питекантроп является звеном промежуточным, был способен на что угодно. Такой человек мог запросто написать и пьесу. У Курочкина не оставалось сомнений, что Эжен Дюбуа и есть искомая величина.

Он сделал необходимые выписки и помчался назад, в театр.

К сообщению Курочкина Бульба отнесся недоверчиво. Эжен Дюбуа не произвел на него впечатления человека серьезного. Обнаруженные им остатки могли принадлежать и не питекантропу, не говоря о том, что неизвестно, существовали ли питекантропы когда-либо. В представлении Бульбы питекантроп был персонажем мифологии, нечто вроде огнедышащего дракона или кентавра. Норманистская теория, которую поддерживал Фредерик Дюбуа, вызывала больше доверия.

После долгих споров было принято компромиссное решение: сообщить в Управление, что автором «Гаити» является Эжен Дюбуа, но не указывать, что остатки питекантропа обнаружены им.

Начальник городского Управления по делам искусств был единственным человеком, который с самого начала этой истории не верил

в существование второго Дюбуа. Однако возражать начальникам главков он не стал, полагая, что делать это вынужден будет Бульба. Поэтому он крайне удивился, когда в письме, подписанном директором театра, прочел, что второй Дюбуа обнаружен. «Хитер Бородаев, — подумал он. — То-го гляди, выкрутятся».

Но Начальник Управления тоже был хитер; к тому же, он был игроком. Не то, чтобы играл на бегах, а в смысле фигуральном. Он поднял трубку и позвонил Бульбе.

— Михаил Богданович, — сказал он, — жаль, что ты меня не застал. Дело вот в чем. Очень хорошо, что ты наконец выяснил, кто написал «Гаити». Эжен Дюбуа так Эжен Дюбуа, спорить с тобой не буду. Но наверху твоё объяснение никого не удовлетворит. Раз уж ты выяснил, что «Гаити» написал Эжен Дюбуа, то, будь добр, сообщи о нем какие-нибудь сведения. Допускал ли он, к примеру, ошибки в своем творчестве или, наоборот, был на высоте. Может, поговорку какую выдумал. Много я не требую — полстранички. А ты подошел формально, нельзя так. Будь здоров.

Сделав один шаг, Бульба был вынужден сделать второй. Но, кроме того, что Эжен Дюбуа обнаружил остатки питекантропа и защищал дарвинизм, Бульба о нем ничего не знал. Не знал о нем ничего и Курочкин. Но Курочкина, наделенного большим воображением, чем Бульба, обстоятельство это не смущало.

— Я уверен, что Эжен Дюбуа написал свою пьесу после того, как в составе научной экспедиции побывал на острове Гаити, — сказал Курочкин. — Посудите сами, Михаил Богданович, не мог же он сперва написать пьесу, а потом отправиться в экспедицию.

Довод этот показался Бульбе убедительным.

— Пиши, — сказал он. — Вернувшись из экспедиции, Эжен Дюбуа создал «Гаити», которая принесла ему широкую известность. Точка.

— На Гаити, подобно Миклухо-Маклаю, он подружился с туземцами, — сказал Курочкин. — Это привело к столкновению с французской администрацией, он вынужден был покинуть остров раньше срока.

— Предварительно обнаружив остатки питекантропа, — подсказал Бульба.

— Остатки питекантропа он обнаружил не на Гаити, а на Яве, — поправил его Курочкин, и Бульба смутился.

— В таком случае о питекантропах не надо вовсе, — сказал он. — Мы начали не с того конца. А что он делал в детстве?

— В детстве он, разумеется, принимал участие в домашних спектаклях, — ответил Курочкин. — Думаю, не ошибусь, если скажу, что увлечение театром он унаследовал от своей матери, которая в молодости обладала красивым меццо-сопрано.

— О меццо-сопрано тоже не надо, — сказал Бульба.

— Правильно, — согласился Курочкин. — Увлечение театром он унаследовал от своей матери. Точка. В шестнадцать лет он решил стать актером, но встретил сопротивление со стороны отца, который требовал, чтобы сын посвятил себя научной деятельности. После разрыва с семьей...

— А где он родился? — вдруг спросил Бульба.

— В Гааге, — ответил Курочкин. — Он родился в Гааге, но после разрыва с семьей переехал в Роттердам. Здесь он поступил на медицинский факультет Роттердамского университета, который окончил с золотой медалью.

— Постой, — сказал Бульба. — Он разругался с отцом, так как тот хотел, чтобы сын стал ученым, а не актером, а разругавшись и уйдя из дома, он стал не актером, а ученым. Где же логика?

— Это не важно, — сказал Курочкин. — Потом они помирились.

Бульбе показался убедительным и этот довод.

— Пиши, — сказал Бульба. — Университет он окончил с золотой медалью. Точка. А как ты думаешь, Курочкин, — спросил он, — кто оказал влияние на его творчество?

— Жорж Санд, — ответил Курочкин. — Все писатели девятнадцатого века находились под влиянием Жорж Санд.

— Смотри, Курочкин, не подведи, — сказал Бульба. — Неужели все?

— Во всяком случае, на Эжена Дюбуа она оказала влияние, — ответил Курочкин.

— Не мешало бы упомянуть о цензуре, — сказал Бульба. — Цензура всегда притесняла все прогрессивное. И о тюльпанах. Голландия — родина тюльпанов, это общеизвестно.

Так постепенно вырисовывался облик Эжена Дюбуа — путешественника и писателя.

Получив справку об Эжене Дюбуа, Начальник городского Управления по делам искусств пришил ее к объяснительной записке, в которой Бульба писал, что театр был введен в заблуждение Большой Советской Энциклопедией, и, присовокупив к ним свою объяснительную записку, все три документа отправил в союзный Комитет по делам искусств. И пошел Эжен Дюбуа путешествовать по инстанциям.

Путь его напоминал молнию на детских рисунках, с той лишь разницей, что молния обращена острием вниз, а путь Эжена Дюбуа пролегал вверх. Эжена Дюбуа то и дело возвращали, требовали поправок, правила, передавали дальше. Каждый, кому он попадался на глаза, считал нужным вносить изменения в его биографию. Семенов-первый, например, по каким-то, одному ему известным причинам, заменил Гаагу Брюсселем, превратив Эжена Дюбуа, таким образом, в бельгийца.

Наконец двадцать шестого апреля он добрался до Председателя Комитета. Председатель отбросил прилипшие к Эжену Дюбуа в пути объяснительные записки и, запечатав его в конверт, отправил в Министерство иностранных дел — на имя Высокого лица. Одновременно Председатель сообщил, что на виновных наложены взыскания.

## 13

В честь глав делегаций великих держав дал обед и Генеральный секретарь ООН. Делегации собирались разъезжаться, и только официальные приемы и обеды еще задерживали их. В серии приемов и обедов — обед Генерального секретаря ООН был последним.

Любые дипломатические мероприятия требуют от их участников соблюдения ряда условностей, и человека, неискушенного в правилах этикета, неприятности подстерегают на каждом шагу. В основном они происходят с людьми науки, отличающимися рассеянностью, и с деятелями литературы, склонными игнорировать не только правила этикета, но и общепринятые нормы поведения. Гораздо сложнее, когда нарушение касается церемониала, в особенности если совершается лицом официальным, да еще преднамеренно. В 1768 году на придворном балу в Лондоне русский посол Чернышев занял место рядом с графом фон Сейлерном, послом Священной Римской империи. Явившийся несколько позже французский посол, улучив минуту, пролез между ними и занял место, оттеснив Чернышева. Инцидент этот кончился дуэлью. Но обед у Генерального секретаря ООН прошел и без курьезов, и без инцидентов.

В начале обеда, отвечая на приветствие Генерального секретаря, Высокое лицо заметил среди присутствующих Уильяма Дюбуа. Вспомнив недавнюю беседу, он испытал чувство неловкости и в продолжение всего обеда старался не смотреть в его сторону. Однако перед самым разездом Дюбуа подошел к Высокому лицу и, дотронувшись до его локтя, сказал:

— Я был рад, ваше превосходительство, слышать от вас, что моя пьеса пользуется в Москве успехом. Сценическая судьба «Гаити» не складывалась благополучно, по крайней мере до сих пор.

Левая щека Высокого лица дрогнула, он сказал, слегка заикаясь:

— По-азвольте, вы, по-омнитесь мне, говорили, что «Гаити» писал другой Дюбуа.

— Это действительно так! — воскликнул Дюбуа. Он вздохнул и развел руками — как и при прошлой беседе. — Когда я писал «Гаити», мне было двадцать лет, и я был другим Дюбуа.

Если бы Высокое лицо ту фразу, которую он мысленно произнес в адрес Уильяма Дюбуа, сказал вслух, то все присутствующие поняли бы

ее значение без перевода. Высокое лицо ничего не ответил Уильяму Дюбуа, он посмотрел вокруг — нет ли поблизости Мирзы Джафари.

14

На следующий день во время доклада помощник Высокого лица вручил ему полученное дипломатической почтой письмо Председателя Комитета по делам искусств. В письме сообщалось, что пьеса «Гаити», ошибочно приписанная видному негритянскому деятелю Уильяму Дюбуа, принадлежит бельгийскому путешественнику и писателю Эжену Дюбуа, справка о котором прилагается. Ввиду того, сообщалось в письме, что творчество Эжена Дюбуа для советского зрителя интереса не представляет, спектакль «Гаити» с репертуара снят. На работников Комитета по делам искусств, Управления по делам искусств и на работников театра, допустивших ошибку, наложены взыскания. В целях предотвращения подобных ошибок в будущем и улучшения работы театров намечен ряд мероприятий.

— Ничего не понимаю, — сказал Высокое лицо, — какой еще Эжен Дюбуа? Вы слышали что-нибудь об Эжене Дюбуа? — спросил он помощника.

— Нет, — ответил тот.

— Ерунда какая-то, — сказал Высокое лицо. Он взял ручку и на письме Председателя Комитета по делам искусств в верхнем левом углу наискосок написал: «В архив».

15

Высокое лицо, не поняв суть происшедшего, решил, что произошло недоразумение и, отправив письмо Председателя Комитета в архив, перешел к другим делам. Вернувшись в Москву, он распорядился «Гаити» в репертуаре восстановить. Распоряжение было передано его помощником без каких-либо объяснений. Председатель Комитета не счел удобным спросить, чем оно вызвано, поэтому на афишах и программах, выпущенных после седьмого мая, инициалы Дюбуа не указаны. Тем не менее, кроме Начальника городского Управления, все были склонны думать, что автором «Гаити» является Эжен Дюбуа. Даже спустя много времени — 9 марта 1954 года — «Литературная газета» в статье, посвященной спектаклю, писала: «К сожалению, доверившись, по-видимому, Большой Советской Энциклопедии, они (рецензенты) ошибочно приписали эту пьесу однофамильцу ее автора — видному негритянскому деятелю, борцу за мир, историку Уильяму Дюбуа».

Из этой фразы можно заключить, что «Литературная газета», если и не была уверена, что «Гаити» писал Эжен Дюбуа, то совершенно не сомневалась, что Уильям Дюбуа, во всяком случае, ее не писал.

На этом история с Дюбуа кончается.

Уильям Дюбуа умер в 1963 году в возрасте девяноста пяти лет. Бульба умер в 1957 году, в том же году, в каком Высокое лицо кончил свою деятельность. Курочкин жив, в одной из среднеазиатских республик он работает массовиком в доме отдыха. История о том, как он очутился в Средней Азии заслуживает отдельного рассказа.

Из остальных героев удалось разыскать только Варвару Петровну. Я отправился по адресу в район Новых Черемушек. Дверь мне открыла старая женщина со множеством бигуди на голове и в галошах на босу ногу. Она заулыбалась, засуетилась и сразу же стала жаловаться на своих соседей, приняв меня, видимо, за какого-то инспектора.

— Варвара Петровна, — сказал я. — Меня интересует история постановки «Гаити». В общих чертах я ее знаю, но, может быть, вы вспомните кое-какие подробности.

— Никакой истории не было, — сказала она. — Вы что-то путаете.

— Ну, как же? — сказал я. — «Гаити» сняли, потом восстановили. Помните?

— Нет, — ответила она.

— Варвара Петровна, — сказал я, — вы не можете не помнить, вы тогда работали секретарем Бородаева. Бородаева-то помните?

— Какого Бородаева? — спросила она.

— Бородаева, директора театра, — сказал я. — Михаила Богдановича. Его еще все называли Бульбой.

— Я человек маленький, — сказала она. — Я на пенсии. А вы, собственно говоря, от кого?

— Я сам по себе. Я ни от кого.

Она не ответила.

— Честное слово, — добавил я.

— Не советую, — сказала она.

— Что не советуете? — удивился я.

Она оглянулась и сказала, понизив голос:

— Вам известно, что в этой истории были замешаны очень большие люди?

— Помилуйте! — воскликнул я.

— То-то и оно, — сказала старуха. — Не советую.

Из Новых Черемушек до центра я добирался часа два. Улицы были запружены народом, в этот день Москва встречала Гагарина.

## ПОКЕР

*Фаине Крымко*

— Вам сдавать, — сказал Горбунов и снял колоду.

Красильщиков посмотрел по сторонам, бросил чип последним и сдал карты. Три пульки прошли без особых волнений, даже нудно, теперь же, когда все заметно устали, игра разгорелась, приобрела остроту. Уже трижды открывали каре, предстояли праздники, которые, по договоренности, играли с джентльменом.

С Володей Зайцевым, хозяином дома, Красильщикова связывала давняя дружба, остальных партнеров он не знал. Горбунова, впрочем, видел однажды, года два назад, на похоронах Володиного отца, с Бардиным и Клавдией Ивановой, которую все именовали Ладой, встречался впервые. Она была актрисой и вдовой генерала — это все, что ему было о ней известно.

Карта ему не шла. Он не зарывался, на маленькой паре в игру не вступал и уж, конечно, не блефовал. Он терпеливо ждал своего часа, зная, что час этот в конце концов настанет.

Когда он бывал в командировках, ему случалось наблюдать, как под тусклым плафоном гостиничного холла едва знакомые люди резались в преферанс, шлепали картами, а те, что не играли, стояли за их спинами и то и дело давали советы. Пепельница утопала в окурках, и в каждой пулке кто-либо из игроков хотя бы раз ронял ее на коврик. Иркутск был оклеен афишами, извещавшими о гастролях известной актрисы, она жила в той же гостинице, что и он, и по утрам, когда выходила из номера, официантки и уборщицы сбегались в холл, чтобы на нее взглянуть. Он помнил ее по старым, еще довоенным фильмам, в которых было много легко запоминающихся песенок, массовых сцен, переодеваний и бездумности. Она все еще сохраняла признаки красоты, старалась не улыбаться и для афиш подбирала фотографии двадцатилетней давности. В памяти Красильщикова от командировки в Иркутск осталась эта актриса, пытающаяся обмануть годы и отстать от старости, да снег, который внезапно выпал ночью и преобразил город; все было завалено снегом: улицы, дома, деревья, двое суток поезда не ходили, и, как на грех, это случилось перед самым отъездом, и ему уже казалось, что он отсюда не выберется.

На юге, где он родился, осень медленно гасла до Нового года, а потом выпадал снег, который таял, не успев осесть, дети, выбежав во двор, швырялись снежками — тяжелыми, как камень, в квартирах пахло нафталином, слюдяное крошево нафталина забивалось в углы карманов, и не так-то легко было его отсюда вытрясти. За окном бывало темно и промозгло, и при одной мысли, что надо вылезать из постели и шагать



в школу, на душе становилось тоскливо, и не хотелось жить, и он прикладывал ладонь ко лбу с тайной надеждой: нет ли температуры? В печке горели поленья, сгорали, он любил наблюдать, как сворачивается, тлея, и неожиданно вспыхивает мандариновая кожура, запах паленой кожуры распространяется по комнатам, и стоило по пепельно-сизым поленьям легонько ударить кочергой — фонтанчики искры брызгали во все стороны, и вновь, на короткий срок, полыхал огонь. В том родительском доме на кухонной стене висела афиша, — вероятно, реклама — два босоногих арапчонка в турбанах и в серьгах, похожих на кольца серсо, бодро несли на вытянутых руках по огромной чашке кофе; над чашками призрачно таяла струйка пара. На картоне отрывного календаря был изображен конь, поднявшийся на дыбы, всадник в длиннополой шинели и в буденовке, с широкими стрелецкими нашивками на груди, за его спиной билось на ветру красное полотнище знамени...

Перед Большим театром ходили трамваи, и Пушкину предстояло еще долго возглавлять Тверской бульвар, еще свежа была в памяти трагедия «Максима Горького», Колхозную площадь то и дело именовали Сухаревкой, недоумевали, глядя на оттянутое вглубь здание Моссовета, челюскинцы обладали славой не меньшей, чем в наши дни космонавты, метро и планетарий были новинками, еще бегали по городу машины с громкими иностранными названиями, кое-где на окраине еще показывали немые фильмы — таким запомнилось Красильщикову время, когда он юношей приехал в Москву. Отец, напутствуя, говорил хорошие слова, смысл которых сводился к тому, что ученье — свет, неученье — тьма, говорил, чтобы щадил мать и почаще писал письма, не забывал вовремя обедать и остерегался дурных приятелей, случайных знакомств. На него надеялись, ждали, что, получив образование и став человеком, он вернется домой, и семья вновь соберется за столом, и тогда, когда все опять будут вместе, наступит счастливая пора. Но прошли годы, домой он так и не вернулся, Степа погиб в феврале сорок пятого под Будапештом, Наташа вышла замуж и уехала в Среднюю Азию, потом умерла мать, и семья так и не собралась, и счастливая пора, какой она представлялась отцу, так и не наступила. Обо всем этом следовало бы написать — повесть или роман, ничего не тая, все как есть, не стесняясь, не задумываясь — нужно ли это кому-либо? — но он не написал и теперь уже не напишет.

— Плюс, — сказал Красильщиков и бросил в банк две рынды. Чипы высшего достоинства почему-то именовались рындами. Он взглянул на Бардина и сложил карты.

— Пас, — сказал Бардин.

Банк был маленький и на ход событий не влиял. Красильщиков копил злость и ждал схватки. Он не терял веры в будущее, он надеялся, что отыграется. Он всю жизнь надеялся, что отыграется. В конце бледов он взял несколько ударов, сгреб чипы в кучу, закурил, всем видом показывая, что полон решимости начать большую игру.

Ни хоккей, ставший игрой века, ни футбол, популярный, казалось бы, еще недавно, ни регби, так и не привившееся на нашей почве, ни элегантный конный спорт не способны были его увлечь так, как карты. На стадионе, на ипподроме, в спортивном зале, каким бы болельщиком ни был, ты всего лишь болельщик, наблюдатель, в конечном счете соглядатай, ты лишен возможности вмешаться, изменить ход игры, — здесь же, за столом, ты участник соревнования, и рассчитывать тебе не на кого, кроме как на себя, ты надеешься только на свой риск и на свое мастерство и немножко на свое везение, необходимое, впрочем, в любом деле. В карты играли издавна, и издавна карточная игра была запрещена, Александр Первый велел брать игроков под стражу и отсылать к суду, а царь Алексей Михайлович и того хлестче — рубить игрокам пальцы. Но, как и все, что на Руси подвергалось гонению и запрету, уходило из-под контроля и выживало, так и карточная игра продолжала расцветать, и ни указы, ни уложения не в силах были с ней справиться. На постоялых дворах играли в карты, в салонах, в клубах и в шинках.

Дружба с Володией, по существу, была игрой в дружбу. Володя был добр, отзывчив, не очень умен и, как все не очень умные люди, любил порассуждать о предметах почти или вовсе ему не знакомых. Подчас он благоговел перед людьми ничем не примечательными, даже ничтожными, только потому, что мир, к которому они принадлежали, был ему чужд и казался загадочным. Дружба с Красильщиковым льстила его самолюбию, и каждый раз, представляя его своим сослуживцам, он не забывал упомянуть, что Красильщиков — писатель. Единственно, о чем он жалел, что писателем тот был недостаточно известным.

Однако писателем Красильщиков не был.

Бардин попросил три карты и спаролировал втемную. Горбунов быстро предъявил открытие и отшвырнул карты подальше от себя. На прикуп Бардин даже не взглянул, понимая, что жест этот не останется незамеченным. «Дешевые штучки», — подумал Красильщиков. Бардина он ненавидел.

Когда-то очень давно, еще в школе, он злюбился в девушку, в которую был влюблен весь класс. Через много лет, встретив ее на улице, он понял, что все годы любил только ее, и она ему поверила, они поженились, но ничего хорошего из этого не получилось. Винить, собственно, некого, и если бы его спросили, что же между ними произошло, он толком так бы и не объяснил. Часто в первое время после развода в любой женщине, с которой встречался, находил черты, напоминавшие жену, — потому ли, что выбирал женщин, похожих на нее, или, может, все женщины похожи друг на друга. С женщинами он был честен и нерасчетлив, не слишком к ним требователен и, когда наступали будни и приходилось расставаться, старался сохранить добрые отношения; иногда это ему удавалось.

Друзья его недолюбливали. Более всего их раздражала манера, в которой он с ними беседовал. Он разрешал себе говорить им нелепости.

Сообщал нечто невероятное и с самым серьезным видом утверждал, что это — правда. Однажды он заявил, что обзавелся вулканом.

Вулкан, как и покер, в каком-то смысле являлся отдушиной и доставлял Красильщикову массу удовольствий. Красильщиков относился к нему, как к существу живому, даже разумному. По утрам, например, он с ним здоровался. Вулкан жил в углу комнаты и, несмотря на то, что временами в его недрах что-то булькало и переливалось, вел себя мирно. Однако Красильщиков был уверен, что настанет день, правда, не скоро, и вулкан взбесится. Из кратера полыхнет пламя, раздастся взрыв, и произойдет все то, что так наглядно изображено на картине Брюллова «Последний день Помпеи». Красильщиков в глубине души желал этого, хотя немного и побаивался.

— Простите, я задумался, — сказал Красильщиков. — Кто открыл? Клавдия Ивановна? Очень хорошо.

Он купил две карты, скашировав к тузам короля. Первая карта оказалась девяткой, вторую он тянул долго, с наслаждением.

— Пароль, — сказал Горбунов.

Выглянул король пик. Борода его была аккуратно завитая и надушенная, пальцы, усеянные драгоценностями, уверенно сжимали рукоять меча. Повернув лицо в фас, он надменно, чуть насмешливо взирал на Красильщикова и нисколько не гневался, что его побеспокоили. «Лидийский царь Крез, пятый век до нашей эры», — подумал Красильщиков.

— Пять чипов, — сказал он.

Клавдия Ивановна, ответив, забрала банк на трех семерках и погрозила пальчиком... Эзоп знал много забавных историй, и Крез любил с ним беседовать. Вечерами, когда солнце садилось за холмы и на душе становилось смутно, он посылал за Эзопом.

Неужели он так и не дожидается своей пятиминутки? Где-то рядом поднимались в атаку, штурмовали укрепления, возвращались на исходные рубежи, подсчитывали потери и трофеи, вновь шли в бой, а на его участке — который час! — длилось томительное затишье, изредка нарушаемое случайной ружейной перестрелкой. Две-три отчаянные попытки, предпринятые им, были разгаданы без особого труда и не принесли ничего, кроме досады. Блеф эффективен, когда спортивное счастье партнерам изменяет, но даже в этом случае им надо пользоваться чрезвычайно редко. Красильщиков был опытным игроком и знал, что ему не пристало блефовать с отчаяния. Он обязан был запастись терпением и ждать карту, и, хотя говорят, что при карте большого умения и не требуется, это далеко не так. Мастерство игрока проявляется именно при карте; умение ее использовать в конечном счете и отличает хорошего игрока от дилетанта. Сейчас карта шла Горбунову, и Красильщиков с сожалением наблюдал, как тот не по-хозяйски с ней обращается, не выжимает ее, довольствуясь малой выгодой... Сомнительный демократизм Креза способен был вызвать восхищение только у кликуш и подхалимов. Эзоп отлично понимал, что Крез разрешает ему вольничать словом

лишь потому, что в любой день может бросить львам на растерзание. Каждый раз, когда за ним являлся курьер, он не был уверен, вернется ли домой. Красильщиков не знал, как осуществлялась казнь в Лидии, однако предание львам представлялось ему вполне вероятным. Он купил карту и с маленькими парами спаролировал темную.

...Через полгода он встретил ее в Москве, на Сретенке, она выходила из магазина с ворохом пакетов и свертков, он замешкался, пытаясь вспомнить, где ее видел, и вспомнил сразу, как только поздоровался. Он ни на кого не обращал внимания, общаясь лишь с соседями по столу, и если бы не то обстоятельство, что комнаты их находились на одном этаже, она и вовсе не сохранилась бы в его памяти. Впоследствии она говорила, что только умышленно можно не заметить человека, с которым встречаешься ежедневно, — то в столовой, то на пляже. Звали ее Юлией Петровной. Она принадлежала к тем редким женщинам, которые не тягостятся своим одиночеством и, зарабатывая достаточно, ведут независимый образ жизни. Все, что мешало ей в работе, она устраняла, не задумываясь, порой безжалостно, по всей вероятности, и осталась-то без семьи в силу фанатичной преданности профессии. Ее труды печатались в «Ученых записках» и издавались отдельными брошюрами, которые, по предположению Красильщикова, никто не читал, она являлась членом множества комиссий и подкомиссий, ее то и дело посылали за рубеж — представлять на симпозиумах и конференциях. Она была уверена в необходимости всего, что делает, он не раз слышал ее служебные разговоры по телефону и удивлялся категоричности ее суждений... Он, видимо, ей приглянулся, и она оставила его у себя ночевать. Неожиданность ее решения опалила его радостью, он готов был говорить ей слова, от которых отвык, однако рациональность ее характера сказала и на отношении к нему, и он вскоре понял всю неблагоприятность отведенной ему роли. Так повелось, что, прощаясь, она просила не искать встреч и обещала звонить сама и действительно звонила, он даже обнаружил некую закономерность в ее звонках, — обычно они предшествовали каким-либо значительным, по ее мнению, событиям в ее служебной деятельности. Спустя много времени после того, как они расстались, он однажды, включив телевизор, увидел ее на экране, беседующей с диктором, и усмехнулся озорной мысли, что не в пример другим зрителям, ему доподлинно известно, что накануне она барахталась с кем-либо в постели. Потребность в этом своеобразном допинге, видимо, была столь велика, что, не оказавшись он на месте, заменить его, пожалуй, мог бы любой подвернувшийся под руку мужчина. Он ее презирал и тем не менее, когда она звонила, мчался к ней через весь город, как дурак.

Клавдия Ивановна, сделав три туза, бросила в банк рынду. Красильщиков к девяточным парам вытянул девятку и плюнул. Она ответила, не поверив.

— Когда покупают одну карту, всегда опасно, — заметил Горбунов.

«Это начало только,— подумал Красильщиков, мысленно обращаясь к Клавдии Ивановне.— Жаль, что я мало плюснул. С тремя тузами ты вынуждена была бы ответить. Ну, ничего. Карта пойдет, и тогда я обрушу на тебя серию ударов. Я взломаю твою оборону и разметаю твои ряды.— Он дал волю своему ожесточению и уже не мог остановиться.— Я буду атаковать тебя. Я буду атаковать без передышки, атаковать, пока ты не взмолишься о пощаде. Но и тогда я не перестану атаковать тебя. Я подожгу землю, по которой ты ходишь».

Юлия была не такой уж плохой бабой, и непонятно, чего он на нее так взъелся? В конце концов она хотела немного счастья — в том понимании, какое ей было доступно. Не ее вина, что в начале пути она не встретила человека, который научил бы ее уму-разуму. Любопытный мог бы получить с ней рассказ, и о многом можно было бы в нем поговорить,— помнится, он даже собирался написать его, но так и не написал.

— Последний круг,— объявил Горбунов.

Пять ударов последнего круга не принесли никаких неожиданно-стей; на последнем ударе у Горбунова оказалось каре с руки, но в игру никто не вступил — от досады он даже крикнул и ограничился банком и премиальными. Красильщиков с радостью подумал, что пуля в плотную подошла к заключительной фазе — к праздникам. Открытая карта, именуемая джентльменом, сулила путешествия в неизведанные страны, рискованные встречи, находки и разочарования, ночные беседы в лесу, у костра, когда от малейшего шороха холодеет сердце и огоньки дальних поселений наводят на мысль о голодной стае рыскающих по округе койотов. Через несколько дней «Луизиана» выйдет в море, и, если капитан сдержит слово и возьмет их на борт, они достигнут острова не позднее середины августа — до того, как начнется период проливных дождей. Как это ни странно, безобидные на первый взгляд воспоминания о годах детства таили в себе немалую разрушительную силу, и Красильщиков, обернувшись к Зайцеву, спросил:

— Штрафы есть?

— Предлагаю перед праздниками прерваться,— сказал Зайцев.— Штрафов нет. Прошу на кухню.

Все поднялись, отодвигая стулья, и заговорили разом. Теперь, после длительной игры, во время которой весь разговор сводился к репликам-терминам вроде: открыл, пароль, пас, плюс,— захотелось болтовни, обмена новостями, короткого отдыха. На кухне гостей ожидали бутерброды, приготовленные заранее, графинчик настоянной на лимонных корках водки и принесенная кем-то из партнеров бутылка вина. Пили, не чокаясь, но и не торопясь, предвкушая игру, которая обещала быть острой из-за наличия джентльмена. Разговор шел о пустяках, вспоминали давние встречи, случайных знакомых, какого-то Корпачева, о котором шел слух, что он нечист на руку, и который вечно проигрывал, обсуждали очередную главу многосерийного телефильма.

— Вы, кажется, писатель? — подойдя к стоящему у окна Красильщикову, интимно, почти заговорщицки спросил Бардин. Ему, видимо, хотелось порассуждать о литературе.

Красильщиков отрицательно покачал головой.

— Я пиротехник, — сказал он.

На какую-то долю секунды глаза Бардина вспыхнули яростью, но он сдержался и произнес очень вежливо:

— Пиротехника, простите, это когда салюты и фейерверки?

— Не только, — ответил Красильщиков. — В основном — кино. В любом современном фильме на военную тему есть батальные сцены. Взрывы, пожары... Тут, сами понимаете, без пиротехники не обойтись. Я бы сказал так: пиротехника в настоящее время наиболее широкое применение получила именно в кино. — Он снисходительно улыбнулся. — Ну и фейерверки, разумеется.

— Зарабатываете много? — поинтересовался Бардин.

— Много — понятие относительное, — отпарировал Красильщиков. — Мне хватает.

«Напрасно вы нас игнорируете, дорогой Александр Михайлович, — много лет назад говорил ему Бардин, — не этот — другой, но точно такой же, как этот. — Талантливые люди нам нужны, приходите — не пропадете. Квартиру или еще что — какие могут быть разговоры? Уверяю вас, вы превратного о нас мнения». — «Насмотрелся за свою жизнь я на таких, как ты, — подумал Красильщиков. — Плевал я на тебя и на твою дружбу. Может, кто и счастлив будет лизать тебе зад, сволочь, а меня уволь. Высказывай свои взгляды на литературу кому-нибудь другому». Он подлил себе вина и уже вне всякой связи с Бардиным — и тем, давним, и этим, который, распечатав с треском пачку «Мальборо», отправился за забытой на столе зажигалкой, вспомнил иностранцев, которые не далее как вчера толпились в вестибюле метро и, задрав головы, рассматривали выложенную на плафонах мозаику.

— ...если раджи-йоги указывают путь к пробуждению религиозного сознания, — продолжал Горбунов, — то следует признать, что теософия никак не противоречит христианству. — Он сделал паузу и обвел взглядом присутствующих.

— Одна моя знакомая каждое утро становилась на голову, это кончилось весьма печально, — заметила Клавдия Ивановна.

— Хатха-йога не терпит вульгарного толкования, — ответил Горбунов.

«Все знает», — подумал Красильщиков и, чтобы принять участие в беседе, обратился к Клавдии Ивановне:

— Последняя премьера вашего театра пользуется успехом. Говорят, спектакль очень смелый.

— Я смотрел, — сказал Зайцев. — Любопытно, конечно. Но во мне лично как в зрителе спектакль интереса не вызвал. Все эти безобразия, о которых там речь, я каждый день вижу у себя на заводе. Я о них знаю

и без тебя. А ты, если уж взялся за перо, будь любезен подсказать, как их искоренить. Вот тогда я тебе скажу спасибо.

Красильщиков, улыбаясь, смотрел на Зайцева.

— Не пора ли на ринг? — спросил Бардин, выходя из туалета.

Перерыв кончился.

За окном выжигало, в зимней темени одиноко вспыхивал и гас фонарь, здесь, на окраине, ветер беспрепятственно кружил между новостройками поземку, казалось, ничего не изменится ни через день, ни через месяц. Странно, что когда-то одна мысль о предстоящей новогодней суматохе наполняла сердце радостью, в квартире пахло хвоей и ванилью, серебристый дождь струился с веток, в свечечном пламени мерцали позолоченные орехи и вата, посыпанная блесками, и какая-то чепуха, сережка или колечко, стуча, перекатывалась в шоколадных бомбочках. Готовились задолго, запасались фольгой и серпантином, бенгальским огнем, однажды он спрятался в груди сваленных в коридоре шуб, там и заснул; вечность прошла с тех пор, даже не верится, что все это было на самом деле.

— Кто сдает? — спросил Красильщиков, садясь за стол.

— Тот, кто спрашивает, — сострил Горбунов, и все улыбнулись; действительно, в большинстве случаев вопрос этот задает тот, кто и должен сдавать.

Открытая карта чревата опасностями и требует от игрока переоценки комбинационных возможностей. Дистанция между соперниками сокращается, удар производится в упор и может оказаться чувствительным. Тройка, даже тузов, уже не обладает той мощью, которая в обычной игре позволяет довольно уверенно штурмовать вражеские укрепления. Эту смену весовых категорий хороший игрок фиксирует мгновенно и включается в новый ритм без особого труда. Во что обходится оплошность, показал первый же удар праздников. Зайцев с максимальным фулем переплюснул Горбунова, не учтя, что покупка двух карт при открытом джентльмене часто грозит цветом.

Вряд ли кто из болельщиков его поколения способен забыть финальный матч чемпионата страны между ЦДКА и московским «Динамо». Чтобы получить золотые медали, динамовцам тогда достаточно было сыграть вничью. Первый тайм они проиграли, во втором Иван Кочетков, пытаясь прервать опасную передачу, сравнял счет, забив гол в свои ворота. Весь стадион ахнул от неожиданности. Игра шла к концу, уже пробил гонг, судья уже поглядывал на секундомер, казалось, все конечно, ничто не в силах изменить исход матча, и зрители уже направлялись к выходу, и вдруг произошло то, что доводится видеть, может, раз в жизни. Армейцы, перехватив мяч, бросились через все поле к воротам динамовцев, всей командой ворвались на штрафную площадку, удар! — мяч попадает в кого-то из защитников, удар! — Хомич отбивает руками, еще удар! — штанга! — и, отскочив от штанги, мяч на последней секунде падает Боброву прямо в ноги — в момент, когда Хомич после

броска беспомощно лежит на земле. Господи, что творилось на трибунах! Еще тридцать лет протекут, не исчезнет из памяти тот сентябрьский день 1948 года.

— Банком,— сказал Красильщиков, открываясь на первой руке. У него были четыре бубны, на столе лежала трефа.

Покупка одной карты при открытом джентльмене создает впечатление фуля, и партнеры в таких случаях чаще всего паролитуют к открывшему. Красильщиков, не взглянув на прикуп, выжидательно посмотрел на партнеров. Зайцев спаролитовал втемную, Горбунов поднял карты и после долгого раздумья спаролитовал тоже. Красильщиков кивнул головой и потянул карту.

Теперь все зависело от него.

Пятой картой оказался король пик. На этот раз в нем трудно было узнать некогда могущественного и всесильного царя Лидии. Вид его был жалок, от бывшего величия не осталось и следа. Он стоял на остановке трамвая, держа в руках потертый портфель, набитый газетами и продуктами. Красильщиков часто встречал его в коридорах редакций, он терпеливо сидел в приемных и, уходя от начальства, долго благодарил секретарш. Глядя на него, вряд ли кто мог предположить, что некогда он занимал командные посты в литературе. Перед ним заискивали, знакомства с ним искали. Впоследствии его громили с той же рьяностью, с какой он в свое время громял других. Жизнь ничему его не научила, он остался таким же дураком, каким был всегда.

Все ждали, что скажет Красильщиков. Поразмыслив, он решил не рисковать.

— Пас,— сказал он.

Горбунов жестом пригласил Клавдию Ивановну и Бардина вступить в игру. Банк возрос, теперь в нем было порядка шести рынд. Открывший обязан был его взять, иначе штрафовался в размере банка. Едва Красильщиков подумал, что хорошо бы на такой банк получить комбинацию с руки, как к трем его бубнам, словно в насмешку, открылась бубновая восьмерка.

— Банком,— сказал Красильщиков. Мысль о том, что никто из партнеров не рискнул бы открываться на большой штраф, не имея готовой комбинации, доставила ему удовольствие.

«Я поражаюсь твоему легкомыслию,— когда-то говорила ему жена.— Человек должен к чему-то стремиться, знать твердо, чего он хочет. А тебе все до лампочки. Пора уже стать серьезным». — «Дай срок, и я стану серьезным», — отвечал он без тени улыбки. — «Серьезным, как дядя Сережа. Меня назначат начальником отдела или даже главка. Я буду выносить выговоры или премировать месячным окладом — смотря по обстоятельствам. На улице на меня будут оглядываться и говорить: «Вот идет Александр Михайлович Красильщиков, серьезный человек». — «Домашний Бернارد Шоу!» — пыталась она съязвить.



«Вот так, уважаемый товарищ Бардин,— подумал Красильщиков.— Я открылся на первой руке сдуру, по легкомыслию, которое иной раз на меня находит. Всего-то у меня четыре бубны. По существу, это ничто. Меньше, чем две шестерки. Вы имеете возможность вдоволь надо мной поиздеваться, указать мне на дверь, выгнать с работы, сослать на луну, бросить на съедение акулам, словом, уничтожить, стереть в порошок. Вы серьезный человек, товарищ Бардин. Но я вас не боюсь, и то, что для вас представляет ценность, для меня — дерьмо собачье. Что же вы молчите?»

— Пас,— сказал Бардин.

«Жаль,— подумал Красильщиков.— Мы могли бы славно побеседовать...»

— Позвольте,— вдруг сказала Клавдия Ивановна и бросила в банк шесть рынд.

— Две карты,— сказал Красильщиков.

Клавдию Ивановну во внимание он не принимал и, открываясь, был почему-то уверен, что в игру вступит Бардин. С Бардиным у него был особый счет. Но тот от схватки уклонился, и теперь Красильщикову казалось, что его обманули. Все запасовали, оставив его наедине с Клавдией Ивановной. Ярость его погасла, пошла на убыль. Клавдия Ивановна купила две карты и, видимо, не докупившись до фуля, спаролировала. Красильщиков знал, что она не ответит — дай он хотя бы рынду. Однако воевать с женщинами он не умел. Он уходил от ссор, от дразг, от споров, от выяснений отношений — так было с женой в свое время, так было и с другими женщинами, что попадались ему в жизни. Он перестал встречаться с Юлией, ничего ей не объяснив, не сказав, что он о ней думает, о ней и о той риторической белиберде, которую та считала высшей истиной.

Взглянув на прикуп, он улыбнулся и, предвкушая удовольствие, какое доставит партнерам, сказал почти весело:

— Штраф.

И все-таки этот банк взял он.

— А вы, Александр Михайлович, оказывается, опасный партнер,— сказала Клавдия Ивановна.

— Он шутник,— заметил Бардин.

В игре в покер существует прием, именуемый переломом карты. Заключается он в том, что игрок, которому в течение долгого времени карта не идет и неизвестно, когда рассеются тучи и проглянет солнце, которому невмочь переносить тоскливое однообразие будней, читать газеты, смотреть телепередачи, стоять в очередях, уходя, гасить свет и деньги, если они есть, хранить в сберкассе, решает на безрассудный поступок, явный проигрыш — в надежде сбить инерцию, изменить ход игры. Никаких гарантий прием этот не дает, и люди, обладающие трезвым умом, не без основания относят его к области мистики, но зачастую, как это ни странно, после бессмысленного риска смельчак бывает

вознагражден улыбкой, которая в дальнейшем способна привести к самым неожиданным результатам. Красильщикова забавляла мысль, что никто из партнеров не открылся бы на большой штраф, не имея готовой комбинации, но, делая это, он, по существу, ломал карту и, дважды оштрафовавшись, взял банк и затем еще несколько банков.

«Судьба предпочитает, чтобы с ней обращались не как с возлюбленной, — как с любовницей, — подумал он. — Конечно, в конце концов она отыграется, отомстит, и сделает это подло — в момент, когда меньше всего ждешь от нее подвоха. Но она это сделает, можешь не сомневаться. Так она поступила с Жорой, подкараулив его среди бела дня в продовольственном магазине; кассирша протянула ему сдачу, а он был мертв. Он все еще стоял перед кассой, но уже был мертв. Да с ним ли одним?! Костя прошел через всю войну и подорвался на случайной мине — за день до демобилизации». Судьба отнимала у него друзей — разными способами. Сергею она подкинула пару регалий и наделила сомнительными титулами, в которые он поверил, Сашу умчала за тридевять земель, к черту на кулички. С кем же он остался? С кем он, собственно, играет в карты?

Господи, с кем он только не играл в своей жизни! Среди его партнеров были и высокопоставленные сановники, и бездарные литераторы, и доступные женщины, и неудавшиеся актеры, проворовавшие завмаги, преуспевающие дантисты — дельцы, изобретатели перпетуум-мобиле, позыры, циники. Все они возникали и исчезали, не оставляя заметного следа в его душе. Встречались люди и другого порядка — те, что, как мотыльки, летят на огонь...

— Он шутник, — повторил Бардин.

За окном по-прежнему выюжило, и Красильщиков подумал — хорошо бы закончить игру до закрытия метро. Володя, правда, говорил, что за углом, на стоянке, всегда дежурят такси, но Красильщиков далеко не был уверен, что в этом заснеженном захолустье такси можно поймать не то что ночью, но даже днем. Те, что переезжают в новые районы, которые еще недавно считались пригородами, вечно хвастаются удобствами, по их словам, и до метро рукой подать, и такси за углом, и продуктовый рядом. Послушать, они всю жизнь только и мечтали, как бы откатиться за чертой города.

Красильщиков, рассматривая карты, усмехнулся, заметив про себя, что слова Бардина не лишены истины. Его всю жизнь сопровождала репутация чудака, и надо сказать, что этому немало он способствовал сам. Взять хотя бы его более чем странные разговоры о вулкане. Ведь в действительности никакого вулкана не было да и не могло быть, но Красильщиков продолжал говорить о нем как о существе реальном, то ли уверовав в придуманную им же небылицу, то ли откровенно издеваясь над собеседником.

Подняв карты, он сразу запасовал, увидев, что играть не на чем, разве что покупать три карты к трем червям. — «Я, может, сумасшедший,

но я же не дурак», — любил говорить Красильщиков, давая понять, что он равно не приемлет ни трезвое благоразумие, гарантирующее обеспеченную жизнь, ни авантюрное легкомыслие. Среди пяти разных карт вновь мелькнул король пик — с авоськой, в которой болталась бутылка пива, поманил пальцем и кивнул в угол, всем видом показывая, что желает сообщить нечто важное, однако не при посторонних. Они отошли в сторону и долго бродили по берегу моря, по песку, все еще мокрому после вчерашнего шторма, между волнами обтекаемо перекатывались дельфины спины, здесь, вдали от комнатной духоты, книг и телефонных звонков, дышалось привольно, и когда Красильщиков уже потерял надежду, что спутник его заговорит, тот, метнув взгляд направо и налево, хотя вокруг никого не было, сказал, понизив голос: «Не связывайся с Бардиным». «Это почему же?» — удивился Красильщиков. Он не ожидал, что речь пойдет о Бардине, думал — так, пустяки, старик валяет дурака, предлагает выпить. «С ним надо дружить, а не воевать», — ответил король пик. — В поединке с Бардиным ты всегда проиграешь. Дело это обреченное». «Иди к черту!» — сказал Красильщиков. «Ты всю жизнь сдавал ему свои позиции без боя, теперь поздно что-либо изменить. Время упущено. Он забрал твои чины, почти все рынды, он отнял твои деревья, твоих женщин, твои города. На что ты надеешься?» «Но кое-что у меня еще осталось», — сказал Красильщиков, и кровь схлынула с его лица. — Кое-что, ради чего стоит жить».

...Возвращаясь из Архангельска, куда он ездил в командировку по заданию одной из столичных газет, Красильщиков умер ночью, во сне. Он болел гриппом, дважды откладывал поездку, однако поправился, чувствовал себя хорошо, ничто не предвещало катастрофы. Все, с кем он встречался в Архангельске, говорили, что никаких признаков болезни у него не замечали, он ни на что не жаловался. Правда, перед отъездом, когда ему хотели устроить проводы, он сказал, что устал и что ему запрещено пить, но к этому отнеслись с недоверием, решив, что он отказывается по соображениям этического порядка. Он занимал верхнее место, поэтому обитатели купе не сразу обнаружили, что он мертв; в полдень один из пассажиров взобрался на лестницу — проверить, работает ли вентилятор, тут все и выяснилось. Проводница утверждала, что накануне вечером он ходил в ресторан и вернулся в подпитии, однако все, кто его видел перед сном, говорили, что он был трезв; официантка же сказала, что она действительно его обслуживала, но не помнит, что он заказывал. Если помнить, кто из клиентов что заказывает и кто из алкашей сколько пьет, можно сойти с ума, сказала она. Пассажиры распили по другим купе, и весь остаток пути они с готовностью рассказывали о случившемся всем, кто, прослышав о несчастье, приходил из соседнего вагона узнать, как было дело.

Произошло это через несколько лет после описываемого вечера, сейчас же — шла игра, комбинации секлись, кучи рынд перекочевывали от партнера к партнеру, все запасные рынды были в расходе. Букет уже

был сыгран, но ни один круг не обходился без каре и штрафов; стоило кому-либо открыться, как немедленно следовало удвоение, тройки и фули не сходили с рук, будто карточная богиня, если таковая существует, усовестившись, компенсировала нудность предыдущих пулек. Взяв несколько запаролитованных банков, Красильщиков вернул почти весь проигрыш, был на нуле и теперь все начинал сызнова.

Крупные капли дождя зашумели в ветвях деревьев, омыли сирень, в небе рвались гигантские петарды, все вокруг содрогалось от грохота; из трех сверкающих облачков, повисших над садом, обильно лил дождь, и сияло солнце. Потом, когда облачка растаяли в небесах, дождь шел уже невесть откуда и прекратился так же внезапно, как и начался. На веранде пахло жасмином, малиной, мокрым деревом, на соседней даче играли Шопена, солнечные лучи, пробившись сквозь листву, падали на землю, воздух над клумбами дрожал от испарений. К вечеру ожидали гостей, хозяйка догадывалась, что он влюблен в ее приятельницу, замужнюю женщину лет на двадцать старше его, и он действительно был в нее влюблен, эдакий Жюльен Сорель... Все это: и мгновенная гроза, и радуга, и томик стихов, забытый в тамате, и запах мокрого дерева, и жажда немыслимого романа — было в другой, несказанной, еще довоенной жизни. Еще помыслы были чисты, суждения категоричны, максимализм молодости еще не допускал компромиссов, и он не поверил бы, если б ему сказали тогда, что в некий день на совет врача — по поводу прокуренного, пропитанного никотином горла — побольше молчать, он ответит полшутя, что он только и делает, что молчит, что молчание чуть ли не стало его профессией. И обо всем этом тоже следовало бы написать.

— Пас,— сказал Бардин, и Красильщиков сгреб кучу рынд.

«А карту я все же переломил,— обратился он к королю пик.— Еще два-три удара, а там можно и блефнуть. Удвоить на открытом джен-тльмене и купить одну карту. Или на пяти разных объявить серви». «Мы еще встретимся, желаю удачи»,— сказал король пик и удалился, постукивая палкой по тротуару, как слепой.

Легко выбрасывая вперед трость, поблескивающую в лучах заходящего солнца перламутровыми инкрустациями, в черном однобортном пальто, в кепке, сдвинутой на висок, шел, чуть ссутулясь, по березовой аллее знаменитый писатель, знакомый Красильщикову по многим фотографиям. Красильщиков посторонился, уступая дорогу, даже заискивающе склонился в полупоклоне, но на этот знак почтения писатель внимания не обратил и прошел мимо, глядя прямо перед собой. В его размеренной поступи, крепко сомкнутых губах, в том, как он демонстративно игнорировал птиц, деревья, мальчишек, мчавшихся ему навстречу на велосипедах, сполохи заката на горизонте, небо, в котором, как в замедленной съемке, двигались планеты и спутники, и бесчисленное множество галактик за этим небом, чувствовалась спокойная уверенность, свойственная людям, знающим себе цену. Несмотря на некото-

рую отечность под глазами и едва заметное брюшко, он выглядел если не молодо, то весьма молодцевато в свои семьдесят с лишним лет. Он не принимал близко к сердцу ни бури, выпавшие на его век, ни собственную беспринципность и на пороге того мира, откуда нет возврата, издал — одну за другой — несколько повестей, не оставляющих сомнений, что автор их за долгую жизнь не успел до конца разбазарить волшебный дар, отпущенный ему богом. Своим существованием он вносил немало важную поправку в казалось бы решенный вопрос о несовместимости гения и злодейства, что, впрочем, не мешало Красильщикову восторгаться им и именовать его Маэстро с большой буквы.

— Десять чипов, — сказал он.

— Плюс, — сказала Клавдия Ивановна. — Три рынды.

— Сколько покупали карт? — спросил Красильщиков.

— Надо следить, — сказал Горбунов, тасуя колоду.

«Надо следить, — повторил валет бубен, зажаты между десяткой треш и дамой червей. — Опытный игрок, а задаешь вопросы, непростительные даже новичку». «Я думал, сдавала Клавдия Ивановна, — сказал он, оправдываясь. — Сдающий обязан...» «Это никуда не годится, — перебил его валет бубен. — Сдавал Зайцев».

— Вы правы, — сказал Красильщиков, обращаясь к Горбунову, и бросил карты. Со стритом от восьмерки он решил не рисковать.

Бросив карты, Красильщиков вдруг почувствовал, что к нему подступает знакомое издавна непонятное ощущение, которому он не только не находил объяснения, но и не мог, если бы понадобилось, толком определить словами. Скорее всего это было похоже на сновидение. В эти секунды все происходящее ему начинало представляться в прошедшем времени, уже испытанным однажды, он сознавал абсурдность этого состояния и боялся окончательно потерять связь с реальностью; тогда наступал страх. Сейчас он обвел взглядом присутствующих, торопливо закурил и придвинул под собой стул, как бы желая удостовериться, что это именно он и именно в данный момент играет в покер. Он облегченно вздохнул, чувствуя, что на этот раз ему удалось избежать встречи со страхом, отстоять себя. «Так не долго и с ума сойти», — подумал он.

Регистраторша в окошечке, одна из тех старушек, что чересчур серьезно относятся к возложенным на них обязанностям, не вняла его просьбам, он понял, что пререкаться с ней бессмысленно, и прибег к испытанному способу — сунул гардеробщику рубль, получил халат и прошествовал мимо дежурной решительным шагом Штирлица. Поднимаясь на лифте на шестой этаж, он весело подумал, что если бы не существовало лишенных предрассудков гардеробщиков, жить было бы и вовсе скучно. Еще издали, в коридоре, он заметил, что дверь в палату распахнута; Борис лежал на боку, лицом к стене, Красильщиков, тихо ступая, подошел к изголовью койки и остановился, не зная, как быть. Будить не хотелось, стоять молча у койки было глупо; он нерешительно

кашлянул. «Что тебе надо?» — не поворачивая головы, спросил Борис. «Старик, я думал, ты спишь...» — начал он, но Борис его перебил: «Я тебе позвоню, как только меня выпишут». Хотя он и готов был к неожиданностям, его предупреждали, что Борис никого не хочет видеть, тем не менее растерялся. «Вот апельсины принес», — спохватившись, сказал он и полез в портфель за кулком... Потом, на улице, вспомнив, как Борис, не взглянув в его сторону, узнал его, он подумал, что это, видимо, следствие болезни — такая предельная, почти мистическая чувствительность. Он надеялся, что ему удастся вызвать Бориса на разговор, побеседовать, но за двадцать минут, что он провел в палате, Борис к нему так и не повернулся, поначалу отвечал односложно, потом и совсем умолк. Медсестра, которую он, уходя, встретил в коридоре, сказала, что за последние дни наступило ухудшение, больной замкнулся, перестал разговаривать и они держат дверь в палату открытой, чтобы он не натворил глупостей. Во всех разговорах о Бориной болезни фигурировало слово депрессия — глубокая депрессия, маниакальная депрессия, его исследовали, ставили диагнозы, лечили и так и эдак и не догадывались, что человек попал между прошлым и настоящим, запутался, был несчастлив. Второй год Борис скитался по больницам, Коля умирал от рака где-то на окраине города, в новой квартире, Дима медленно слеп, говорят, оперировали, но безрезультатно, — все они когда-то были молоды, бушевали, готовились в пророки, теперь же поодиночке сходили со сцены, так и не осуществив свои замыслы, не реализовав свои возможности.

— Плюс. — сказал Красильщиков, — пять рынд.

— Пять? — переспросил Горбунов. — Ох, нарветесь как-нибудь, Александр Михайлович, обязательно нарветесь.

— Могли бы спаролить, — сказал Красильщиков, не скрывая своего раздражения, и показал открытие — два короля.

— А там и третий, — сказал Горбунов.

— Вряд ли, — усомнился Зайцев. — Король у меня.

— В колоде их четыре, — отрезал Красильщиков.

Сидеть и ждать, проигрывать по мелочам и наблюдать за чужой игрой, конечно, неприятно, — чувство это знакомо любому игроку, — но особой беды в этом нет. Беда, когда карта сечется. У тебя стрит — у партнера тройка, у тебя тройка — у партнера фуль, у тебя фуль — у него цвет; тут уж ничего не поделаешь. Это все равно, что в преферансе то и дело нарываться на четыре козыря и отсутствие масти. Однако бывают и такие счастливые периоды, когда все проходит. Проходит американец — не бог весть какая комбинация, проходит блеф, две маленькие пары берут огромный банк. Это придает игроку уверенность, он чувствует себя полноправным партнером, за ним следят, его опасаются, он обретает второе дыхание, играет легко и раскованно. Именно в таком состоянии находился сейчас Красильщиков. Карта ему шла, и даже в тех случаях, когда к двум парам он ничего не прикупал, они оказывались старше, чем у остальных. Он взял несколько банков, последний на дубах, по

существо, на блефе, ибо Горбунов, несомненно, докупился до тройки. Карточная богиня, которая все-таки существует, к нему благоволила. Почему-то ему казалось, что зовут ее Клотильдой.

Перегнувшись через стол, он заглянул в листок, лежащий перед Зайцевым, увидел длинный список зачеркнутых каре и понял, что пуля-ка гаснет. Хотя и не было оговорено, что она последняя, тем не менее вряд ли кто из игроков предложил бы еще одну, разве что Клавдия Ивановна. Играла она слабо, но рьяно и, если ей верить, способна была просидеть за картами всю ночь. (Впрочем, в старину Клотильдой именовали даму треф.) Клавдия Ивановна переловила его взгляд и посмотрела озорно и вопросительно — не поиграть ли еще? — но он развел руками и кивнул на часы, висящие на стене за ее спиной. Ей, видимо, не хотелось возвращаться в свое квартирное одиночество, и она вздохнула, не найдя в его лице союзника.

Великих идей, крушение которых приводит к мучительным раздумьям и раздвоенности, у него не было, как не было и тщеславия. За тщеславие приходится платить слишком дорого, это он понял вовремя и преодолевал невзгоды без особых потерь. Годы научили, что доискиваться до истины следует самому, не обращаясь к другим, и он прожил жизнь, не кривя душой, никому не завидуя и не претендуя на внимание к собственной персоне. Но, возможно, он кокетничал, говоря, что не тщеславен, и тщеславие его было более добротного, чем у других, порядка.

Слова медсестры о том, что они опасаются, как бы больной не навредил глупостей, не выходили у него из головы; он подумал — каким абсурдом показалось бы подобное опасение тогда, тридцать с лишним лет назад; ведь из них всех самым мужественным, самым, пожалуй, неуязвимым, уверенным в себе был именно Борис. Правда, с годами его постулаты постепенно утрачивали свою первоначальную привлекательность, так по крайней мере казалось Красильщикову, однако в любых обстоятельствах Борис продолжал их отстаивать, даже с большей запылчивостью, чем прежде.

— Стрит, — сказал Красильщиков. Он играл на стрит в обе стороны и купил бубнового короля.

Бардин показал открытие и жестом предложил банк снять.

— Вы вступали пятью рындами, играя на стрит? — удивилась Клавдия Ивановна. — Одна-ако... — покачав головой, нараспев произнесла она.

— Иной раз я себе это разрешаю, — ответил Красильщиков и впервые за весь вечер взглянул на нее как на женщину.

Возможно, это нараспев произнесенное «одна-ако» или вдруг сверкнувшая в розовой моче бриллиантовая росинка дали свободу его воображению или вызвали воспоминания о давнем романе, — он задержался взглядом на ее чуть припухлых губах, скользнул по высокой шее, выступающей из выреза платья, и подумал, что было бы недурно увезти ее в ночь, в снежную метель, ворваться в генеральские апартаменты и за-

быться в любовных утехах на генеральской постели. Ей было далеко за сорок, а то и все пятьдесят; он украдкой взглянул на нее еще раз, заметил воспаленные от многочасовой утомительной игры веки и выступивший на щеках старческий румянец и поднял карты.

Едва он запасовал, как его окликнул король бубен. Сперва он его и не заметил; все карты были разные — семерка, девятка, валет, дама, король, — не играть же на стрит в середину? Поэтому он не обратил внимания на короля и хотел было карты бросить, но вдруг вспомнил, как много лет назад генерал жестом пригласил сесть и протянул портсигар. В окне кабинета плавно двигалась стрела крана, а позади стрелы, в голубом небе таял след реактивного самолета. «Вот мы и встретились», — сказал король бубен, и Красильщиков не понял — точно ли перед ним король бубен или генерал. Сквозь папиросный дым он взглянул на своего собеседника, стараясь распознать его, и обнаружил, что это не король бубен и не генерал, а некто третий, кого он ранее никогда не видел. Он из деликатности промолчал, хотя знал по опыту, что если сразу же не признаться, то потом сделать это будет труднее, — «Много воды утекло, что и говорить!» — протянув руку, сказал некто третий. «Да, много», — подтвердил Красильщиков, однако руки не подал. Он был уверен, что прикосновение к руке некоего третьего чревато неприятностями, кто-то даже жестоко полатился, пожав его ладонь, но не мог вспомнить, кто именно. Некто третий усмехнулся и убрал руку за спину. «Я вижу, дела твои не так плохи», — сказал он, кивнув на кучу рынд, лежащую перед Красильщиковым. «У меня никогда не было денег, но не было и долгов», — ответил Красильщиков. Он злился, что дал втянуть себя в этот обмен банальностями, и догадывался, что не так-то легко будет отделаться от бестактного незнакомца. «Чем ты занимался все эти годы?» — спросил тот. Красильщиков наконец рассмотрел незнакомца хорошенько и окончательно убедился, что видит его впервые. Внешности он был заурядной, и тем более казалось странным, что оказывал на Красильщикова почти гипнотическое воздействие. «Учился», — ответил Красильщиков. «Учился», — повторил некто третий. — Любопытно... Ну и чему же ты научился?» — не без ехидства спросил он. Несмотря на то, что вопрос этот не застал Красильщикова врасплох, готового ответа у него не было. Объяснить свою мысль пространно, потратив множество слов, он, конечно, мог бы, но как выразить ее кратко и в то же время исчерпывающе, он не знал. Помолчав, он сказал: «Располагать слова во фразе в единственно правильном порядке». «Шутник», — сказал некто третий. — Мы не виделись вечность, я думал, за это время ты поумнел. Неужели тебе не надоест нести всякий вздор? Кстати, я давно хотел спросить. Что это за вулкан, о котором ты болтаешь? То и дело до меня доходят слухи...» «Понятие сугубо эстетическое, — струсив, перебил его Красильщиков. — Декоративное пятно в интерьере». «Не втирайте мне очки!» — крикнул генерал и стукнул кулаком по столу.



В это время партнеры заспорили. Вообще-то игра протекала спокойно, без нервозности, особых нарушений не было, если иной раз кто и ошибался, то сразу же признавал свою вину и пуляк продолжалась. Но тут Володя и Горбунов заспорили и стали чуть ли не кричать друг на друга. Красильщиков, не принимавший участия в ударе и не следивший за игрой, поначалу не мог сообразить, в чем дело, и лишь потом, когда страсти улеглись, понял, что речь шла об открытии. Горбунов утверждал, что открылся втемную, следовательно, обладает правом удвоения, Зайцев же протестовал, говоря, что никакой темной не было и не могло быть, потому что Горбунов прикасался к картам. Самолюбие Горбунова было уязвлено, но в конце концов он уступил, ибо действительно прикасался к картам, хотя и не поднимал их. Банк был признан спорным, партнеры забрали свои чипы и роздали карты заново. Красильщиков запасовал, имея две восьмерки, хотя карта ему шла, он мог бы и рискнуть десятком чипов, но не считал себя вправе претендовать на банк. Потом, когда банк взяла Клавдия Ивановна, а Бардин, сидящий по левую руку, как выяснилось, купил восьмерку и две десятки, Красильщиков посожалел о проявленной щепетильности, но успокоил себя мыслью, что поступил сообразно собственному пониманию долга.

Два удара — один за другим — он проиграл. Игра шла к концу, тут ухо следовало держать остро. Красильщиков знал, что последняя прямая способна существенно изменить результаты соревнования. Аутсайдеры, которым терять нечего, пускаются в авантюры, те же, кто в выигрыше, наводят страх крупными ставками. Он проиграл, имея хорошие комбинации, и это было обидно.

Он купил две карты и проиграл вновь. «Она мне мстит,— подумал он.— Не может простить, что я отказался от фуля. Она, видите ли, не любит, когда ею пренебрегают. Черт с ней! Я не мог поступить иначе». Каждый раз, когда ему приходилось отстаивать свои убеждения, он проигрывал. Знакомая история! «Ну, ничего,— успокоил он себя,— когда-нибудь напишу об этом — отыграюсь». Но карта то ли сжалилась над ним, то ли он ее переупрямил, — к четырем бубнам он купил девятку бубен, переплюснул и взял банк, в котором было не менее восьми рынд. «А рассказ может получиться интересным», — сказал он самому себе, уже догадываясь, что никогда его не напишет. «Это нечто вроде буриме?» — появившись из-за портьеры, спросил некто третий. Красильщиков полагал, что некто третий давно ушел, исчез из его памяти, сгинул, поэтому немало удивился, когда тот вышел из-за портьеры и, подойдя к Бардину, стал за его спиной. «Вы о чем?» — спросил Красильщиков. «По поводу слов. Ты говорил, что их надо располагать в каком-то порядке...» В прежнее время, когда Красильщиков был молод, он, вероятно, вспикел бы, возмутился или, того хуже, стал бы поучать, стараясь обра-

тить собеседника в свою веру, но сейчас он смолчал, решил не реагировать. И волна ненависти к Бардину вновь захлестнула его.

— Штрафы,— объявил Зайцев.

В Бардине его раздражало все — голос, руки, манера игры, даже то, что Бардин был толст. Все Бардины, которых он встречал в жизни, были толсты. «Игра гаснет,— подумал Красильщиков,— жаль». Он жалел, что так и не померился силами с Бардиным, что пути их так и не пересеклись. Когда у него бывали хорошие комбинации, Бардин или не вступал в игру, или, вступив, ни до чего не докупался. Разумеется, они обменивались ударами, попеременно выигрывали и проигрывали, но удары эти были слабы и ничего не решали.

Он вспомнил приезд в Москву знаменитого боксера. Его имя у всех было на устах, все ждали обещанной товарищеской встречи. Знаменитость вышла на ринг в неопишемом халате и шикарным жестом поприветствовала публику; зал взревел от восторга. В коротком бою, состоящем из двух раундов, гость продемонстрировал несколько технических приемов, беспрерывно передвигаясь по рингу и оглядываясь на публику, в заключение снисходительно нанес пару слабых ударов. Соперник боялся гостя обидеть, хотя и остерегался его. К спорту это отношения не имело, походило на баловство, и противно было смотреть.

Красильщиков поднял туза пик, затем туза бубен. Обычно он дожидался конца сдачи и поднимал все карты сразу. Сейчас он поднимал карту одну за другой, по мере того как Зайцев сдавал. Третьей картой оказался туз червей. Красильщиков насторожился, забыв обо всем, что не имело отношения к игре, и собрал всю силу воли, чтобы не выдать своего волнения. Он сидел на третьей руке, после Клавдии Ивановны и Горбунова; более всего он сейчас желал, чтобы кто-либо открыл банк до него.

Горбунов открыл банк полной суммой.

— Плюс,— сказал Красильщиков и удвоил открытие.

Бардин вступил в игру, не раздумывая, Зайцев и Клавдия Ивановна запасовали.

— Сколько? — спросил Зайцев.

Горбунов помедлил и купил три карты. После удвоения он, видимо, решил разбросать пары; следовательно, у него были два короля. Красильщиков купил две карты, Бардин — одну. Зайцев кончил продажу карт и остаток колоды аккуратно положил на стол.

Бардин на первой руке уверенно вышел рындой. Красильщиков вопросительно посмотрел на Горбунова. У Горбунова, по всей вероятности, два короля так и остались, и он запасовал.

— Все права,— сказал Красильщиков, резервируя за собой право ответного удара. К прикупу он еще не прикасался.

Нет ничего обиднее, как проигрывать с тремя тузами. То, что Бардин не блефует, Красильщиков не сомневался. И тем не менее он решил, что уравнивает Бардина, если даже купит пару. Конечно, с макси-

мальным фулем удержаться от атаки трудно, но ведь Бардин мог докупиться и до цвета.

Он тянул долго, не торопясь, увидел валета бубен и перевел дыхание. Теперь он мечтал о втором валете. Но пятая карта превзошла все его ожидания. Это был туз треф.

— Плюс,— сказал Красильщиков, еле сдерживая охватившую его радость, и, чтобы не отпугнуть противника, бросил в банк три рынды.

— Плюс пять,— сказал Бардин.

— Плюс,— ответил Красильщиков. «Наконец-то,— подумал он.— Я этой минуты ждал весь вечер».— Сольд! — И он двинул вперед все чипы и все рынды. Он поставил против Бардина все что имел и даже клочок земли, находящейся за спиной.

Наступила тишина. Старший Зайцев в траурной раме на стене — и тот, казалось, понимал, что происходит нечто чрезвычайное.

Бардин кивнул головой в знак согласия.

— Каре,— сказал Красильщиков и выложил на стол четыре туза.

— Флеш-рояль,— сказал Бардин.

Красильщикову показалось, что пол под ногами качнулся, он схватился за край стола и подался вперед, как бы проверяя, не ошибся ли Бардин. Но ошибки не было. Пять червей по восходящей — восьмерка, девятка, десятка, валет, дама — образовывали непробиваемую оборону, о которую расшиблось могучее каре Красильщикова.

Это был единственный флеш-рояль за все пульки, и пришелся он на последний удар штрафов.

Красильщиков доиграл два круга праздников и встал. Он положил на стол несколько крупных купюр и заглянул в бумажник — хватит ли на такси.

— Господи, до чего красиво! — воскликнула Клавдия Ивановна, подойдя к окну и всматриваясь в ночь. — Ветер утих, все вокруг сверкает.

Партнеры, произведя расчет, уже толпились в коридоре, шумели, улавливались о встрече.

— Вы только посмотрите — до чего красиво! — кричала им Клавдия Ивановна.

Ее торопили, кто-то уже вызвал лифт.

Зайцев вышел на лестничную площадку — проводить гостей.

— Ты много проиграл? — спросил он Красильщикова, сочувственно взяв его за локоть.

Красильщиков переложил сигареты в карман пальто, застегнулся.

— Не так много, но зато всё,— сказал он, улыбнувшись, и Зайцев позавидовал его беспечности.

## ОШИБКА

Лоренцо Медичи, прозванный льстецами Великолепным, был по-этом и покровителем поэтов. Поклонник Петрарки, он дружил с Полициано, потомок коммерсанта — жестоко карал спекулянтов своих банковских контор, основал Флорентийскую академию и спорил с кардиналом Гонзага о толковании истины и справедливости. Он писал мистерии и любил карнавальные шествия. На его стороне были молодость, слава и власть.

Конские ристалища оформлялись лучшими художниками и ювелирами. Тексты массовых представителей были поручены первым поэтам Флоренции. На маскарадах министры щеголяли рыцарскими доспехами, публичные женщины казались пастушками. Лавочники, позабыв о востанях, горланили вакхические песни, и философы писали, что наступила времена афинского благополучия.

Но если Лоренцо Медичи хорошо знал унаследованную от предков старую коммерческую традицию — каковы бы ни были дела, покупатель должен быть уверен в процветании фирмы, — то Савонарола не менее хорошо знал Лоренцо Медичи. Именно его он имел в виду, сказав: «Тиран занимает народ зрелищами, чтобы тот думал о себе, а не о нем».

Обедня началась. Низкий бархатный бас, распоров будничный сумрак, взлетел к небесам и заметался под куполом, охваченный страстью и отчаянием. Вступил хор. Придворные дамы, подобрав юбки, опустились на колени. На холодных плитах собора они цвели подобно розовым кустам и трепетали, произнося слова молитвы. О крохотные молитвенники, зажатые в надушенных ладонях, и любовные записки, спрятанные между страницами святого писания!

Справа от Лоренцо стоял Джулиано, его брат, слева — Полициано. Позади, в десяти шагах, находился младший из братьев Пацци — Франческо. Лоренцо заметил его, входя в собор. С ним был мужчина в красном плаще без рукавов, брошенном на плечи, и в красных перчатках. Лоренцо попытался вспомнить, где он видел этого человека, но через секунду, так и не вспомнив, забыл о нем. «Женщины на холодных плитах и впрямь похожи на розовые кусты», — подумал он. Голос Сальвиати гремел под куполом, перекрывая звуки органа. Дойдя до слов: «Припадем к стопам Иисуса», Сальвиати вскинул обе руки, пламя свечи свернулось, готовое погаснуть, но, вырвавшись в сторону, вспыхнуло — заново и ярко. В это время тот, в красном плаще, не торопясь подошел к Джулиано и, выхватив из-за пояса кортик, сильно и коротко ударил его в спину. Сталь, обогрелая кровью, сверкнула над головой Лоренцо.

Это случилось в соборе Св. Марии 26 апреля 1478 года.

На смерть Джулиано Лоренцо ответил кровавым террором. На площадях, которые совсем недавно оглашались взрывами фейерверков, выросли эшафоты. Трибуналы получили чрезвычайные полномочия. Каж-

дый день под барабанную дробь глашатаи выкрикивали имена приговоренных к смерти. Массовые представления сменились массовыми наказаниями.

Мера наказания, собственно говоря, была одна: казнь. Разница заключалась лишь в сроке, который повешенный после казни продолжал висеть в петле. Именно этот срок и определял степень преступления. Наиболее опасные преступники висели по две недели, менее опасные — три дня; многих предавали земле сразу же после казни — это были невиновные. Вернее, вина их заключалась в том, что они являлись друзьями или родственниками виновных.

Уже был казнен Франческо Пацци, были казнены его братья и их сторонники, «Совет семидесяти» казнил Сальвиати, несмотря на протесты Рима, и Сикст IV отлучил Лоренцо от церкви, а на перекрестках улиц глашатаи продолжали выкрикивать все новые и новые имена. Ночь переходила в рассвет, день клонился к вечеру, — в застенках раскаленным железом жгли душу и тело, пытали огнем и водой и требовали новых признаний. Блажен, кто способен умереть молча! Но многие в предсмертной тоске, между явью и бредом, лишь бы на час, на мгновение облегчить свою участь, не выдержав, пересохшими губами произносили наугад десяток имен, и те, назавтра брошенные на пытки, называли еще десяток других. Казни вошли в быт, эшафоты плавно вписались в пейзаж веселого города, стали его неотъемлемой частью, как дворцы и соборы.

После долгих переговоров турецкий султан наконец выдал Бернардо Бандини, убийцу Джулиано. Закованного в кандалы, его доставили во Флоренцию в декабре 1479 года. Лоренцо приказал повесить его в окне палаццо Веккио.

Смерть Джулиано сломила Лоренцо. Он все еще старался казаться веселым, пытался шутить, но шутки его были злы, а веселье — печальным. Уже не по-прежнему светило солнце, краски утратили свою прелесть. Дни безрассудств ушли безвозвратно, будущее не предвещало ничего хорошего, он часто говорил Полициано: «*Di doman non c'è certezza*» — «На завтра не надейся». Ему исполнилось тридцать лет, но он запретил отмечать день своего рождения. Сердце его ожесточилось. И чтобы ни перед чем рука его не дрогнула, чтобы впредь никому не удалось его разжалобить, он в память о людском вероломстве заказал художнику изображение убийцы Джулиано после казни.

Художник, на которого пал выбор Лоренцо, пользовался лестной, но странной репутацией. Его считали мастером, хотя он не имел ни одной законченной картины. Богат он, безусловно, не был, но держался независимо и Лоренцо не кланялся. Бога как будто почитал и в то же время дружил с безбожником Перуджино. Его часто видели за городом, он сидел на каком-нибудь придорожном камне и подолгу следил за полетом птиц, за бегом облаков. О чем он думал? На этой земле тираны не слишком любят тех, чьи мысли им неясны. Надо полагать, по-

этому Лоренцо на нем остановил свой выбор. Звали его Леонардо, он был внебрачным сыном нотариуса из Винчи и крестьянской девушки с короткими плебейскими ногами.

Я стою у окна, и, стараясь найти наиболее выгодное освещение, держу в вытянутой руке кусок картона, на котором сделан рисунок сангвиной, изображающий голову повешенного. Она резко склонена набок, подбородок почти касается ключицы, петля, туго стянувшая шею, тянется от скулы к уху, конец веревки переброшен через блок. Лицо проработано до мелочей, плечи и грудь лишь слегка обозначены.

Судьба забросила меня в старый литовский городишко, полный костелов, пивных баров и парикмахерских, и в ненастный осенний день свела с милейшим Юргисом Рушканисом, архивариусом местной библиотеки. Он увлек меня за собой в катакомбы огромного и мрачного здания, в котором некогда, по его словам, квартировали солдаты Наполеона. Здесь, среди многочисленных мемуаров генерала Краснова и анекдотов некоего Сергея Карачевцева, я увидел несколько эскизов Александра Бенуа к постановке «Кармен» и копию Леонардова рисунка, сделанную неизвестным художником. Я не мог оторвать глаз от куска картона; все, что когда-либо я читал или слышал о Флоренции, вдруг ожило перед моим взором. События пронеслись в обратном порядке: сперва палач выбил перекладину из-под ног Бернардо Бандини, потом окровавленная сталь сверкнула над головой Лоренцо, карнавальная толпа заполнила площадь перед палаццо Веккио. Я увидел Джулиано на трибуне стадиона во время конных состязаний и Симонетту Каттанео, его возлюбленную. В тот день, бродил ли я по узким кривым улочкам, или дожидался на переговорной телефонной связи с Москвой, или просматривал журналы в гостиничном холле, мысли мои вновь и вновь возвращались к истории смерти Джулиано Медичи. Что-то в этой истории не давало мне покоя, казалось незавершенным, недосказанным. Почему, спрашивал я себя, главы заговора, среди которых были люди далеко не трусливые, упорно отрицали свою причастность к заговору, да и само его существование? Неужели ни у одного из них не хватило мужества хотя бы в последний час отстоять свою правоту, бросить в лицо Лоренцо свою ненависть и свое презрение?.. Что заставляло Лоренцо, думал я, не замечать унизительности положения и, поступившись самолюбием, выпрашивать у турецкого султана Бернардо Бандини, наемного убийцу, после того как не только лидеры оппозиции, но и вся оппозиция была уничтожена? Почему, наконец, там, в соборе, был убит кроткий и легковерный Джулиано, а не могущественный Лоренцо? А может быть, судьбу Джулиано решила его всевозрастающая популярность? Вопросы возникли один за другим и настоятельно требовали ответа. Ночью истина вдруг обожгла мое сознание, и я проснулся. Как случайно обнаруженный код придает смысл ничего не значащим цифрам, так догадка моя придавала событиям далеких времен ясность и логику. Сомнений не оставалось...

Замысел Лоренцо был прост и чудовищен. Правда, популярность Джулиано не представляла большой опасности, однако, жертвуя за вражеским соперником, Лоренцо получал возможность одним ударом покончить со всеми этими Альбиции, Нерони, Пацци — давними недругами дома Медичи. Его дед был заточен в тюрьму и чудом избежал казни. Его отец едва не лишился головы — помог случай. Лоренцо не хотел надеяться ни на случай, ни на чудо. Совершенно ясно я представил себе его в ту ночь, когда он решил бросить жребий. Бросив, он уже не мог отступить. За год он постарел на десять лет. Он согнулся под тяжестью собственного преступления. Кровавая бездна, разверзшаяся перед ним, ужаснула его. Настанет день, и он, не дрогнувший когда-то перед проклятием папы, задумается над спасением души и будет искать примирения с церковью.

Наутро я уезжал домой.

С тех пор прошло семь лет. За эти годы я перечитал множество книг по истории Флоренции пятнадцатого века. Мне попадались любопытные материалы, но ни в одном из них я не нашел даже намека, подтверждающего мою догадку. Теперь я и сам вижу несостоятельность моих доводов. Но что же в таком случае толкнуло меня на ложный путь, привело к ошибке? Ночная темь, подступившая к окну, шум осеннего дождя, может быть, гостиничное одиночество, приступ тоски — что же?

## СОДЕРЖАНИЕ

Случай с Дюбуа . . . . .	3
Покер . . . . .	23
Ошибка . . . . .	43



Николай Григорьевич ШАХБАЗОВ

СЛУЧАЙ С ДЮБУА

*Рассказы*

Редактор Л. М. Наточанная

Технический редактор Т. Я. Ковынченкова

---

Сдано в набор 7.05.88. Подписано к печати 22.06.88. Формат  $70 \times 108^{1/32}$ . Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Усл. кр.-отт. 2,28. Учетно-изд. л. 3,12. Тираж 150000 экз. Заказ № 2422.  
Цена 20 коп.

---

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865. ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.